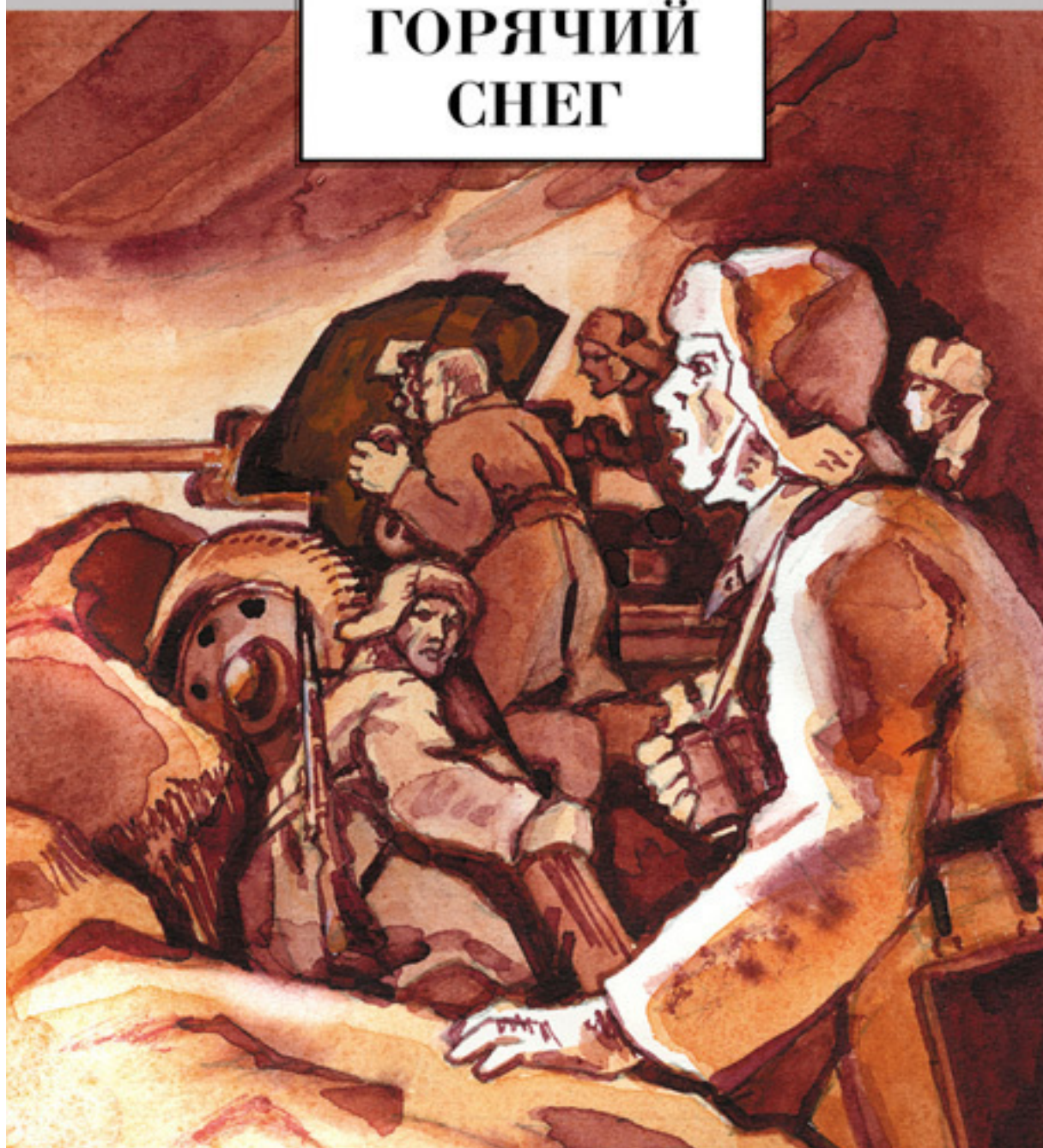


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Юрий Бондарев

**ГОРЯЧИЙ
СНЕГ**



Школьная библиотека (Детская литература)

Юрий Бондарев

Горячий снег

Издательство «Детская литература»

1969

Бондарев Ю. В.

Горячий снег / Ю. В. Бондарев — Издательство «Детская литература», 1969 — (Школьная библиотека (Детская литература))

Широко известный роман Юрия Бондарева «Горячий снег» посвящен Сталинградской битве, героизму советских воинов, выигравших одно из решающих сражений Великой Отечественной войны. Для старшего школьного возраста.

© Бондарев Ю. В., 1969
© Издательство «Детская литература», 1969

Содержание

Краткие сведения об авторе	6
По самой сути бытия	7
Горячий снег	14
Глава первая	14
Глава вторая	19
Глава третья	33
Глава четвертая	36
Глава пятая	51
Глава шестая	62
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Юрий Бондарев

Горячий снег

© Бондарев Ю. В., 1969

© Михайлов О., вступительная статья, 2004

© Дурасов Л., иллюстрации, 2004

© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2004

Текст печатается по изданию: Бондарев Ю. В. Собр. соч.: в 8 т. М.: Голос: Русский Архив, 1993. Т. 2

* * *



Ю. В. Бондарев

Краткие сведения об авторе

Родился 15 марта 1924 года в городе Орске.

В 1931 году семья переехала в Москву. После окончания школы (1941) главным испытанием в жизни стала Великая Отечественная война. От Сталинграда прошел длинный путь до Чехословакии. Дважды ранен. Вернувшись с войны, окончил Литературный институт имени М. Горького, начал печататься с 1949 года, член Союза писателей СССР с 1951 года. Первый сборник рассказов «На большой реке» опубликован в 1953-м. Затем вышли в свет романы: «Тишина» (1962), «Двое» (1964), «Горячий снег» (1969), «Берег» (1975), «Выбор» (1980), «Игра» (1985), «Искушение» (1991), «Непротивление» (1996), «Бермудский треугольник» (1999); повести: «Юность командиров» (1956), «Батальоны просят огня» (1957), «Последние залпы» (1959), «Родственники» (1969); сборники лирико-философских миниатюр «Мгновения» (1977, 1979, 1983, 1987, 1988, 2001 (полное собрание миниатюр), книги рассказов, литературных статей.

В Советском Союзе и России вышло три Собрания сочинений: 1973–1974 (в 4-х т.), 1984–1986 (в 6 т.), 1993–1996 (в 9 т.).

Переведен более чем на 70 языков, в том числе на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, японский, голландский, датский, финский, польский, турецкий, румынский, чешский, словацкий, сербский, венгерский, болгарский, греческий, арабский, хинди, китайский и другие. Всего с 1958 по 1980 год за рубежом опубликовано 150 изданий.

Творчеству писателя посвящено несколько монографий. Среди них: О. Михайлов «Юрий Бондарев» (1976), Е. Горбунова «Юрий Бондарев» (1980), В. Коробов «Юрий Бондарев» (1984), Ю. Идашкин «Юрий Бондарев» (1987), Н. Федь «Художественные открытия Бондарева» (1988).

По произведениям Ю. Бондарева сняты художественные фильмы: «Последние залпы», «Тишина», «Берег», «Выбор», киноэпопея «Освобождение» совместно с Ю. Озеровым и О. Кургановым. Член Союза кинематографистов.

С 1990 по 1994 год – председатель Союза писателей России. На протяжении восьми лет – сопредседатель, затем член исполкома Международного сообщества писательских союзов.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР IX–X созывов, был заместителем Председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР (1984–1989).

В настоящее время – председатель комиссии по присуждению Международной премии имени М. Шолохова. Действительный член Русской, Международной славянской, Петровской и Пушкинской академий, а также Академии российской словесности. Почетный профессор Московского государственного открытого педагогического университета имени М. А. Шолохова.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, двух Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР, премии имени Льва Толстого, Международной премии имени М. Шолохова, Всероссийской премии «Сталинград», премии имени Александра Невского, премии имени В. Тредиаковского. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, «Знак Почета», Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», а также орденом «Большая Звезда Дружбы народов» (ГДР).

Живет и работает в Москве.

По самой сути бытия

Юрий Васильевич Бондарев – крупнейший русский писатель XX века, вошедший в советскую литературу как яркий представитель «военного поколения». Он создал эпическую панораму подвига нашего народа в Великой Отечественной войне, одновременно – и все углубленнее с каждым новым произведением – ведя нравственно-философские искания в высоких традициях Льва Толстого и Ивана Бунина. Как уже отмечалось в критике, писатель в частной судьбе личности находит отражение судьбы нации.

В одном из своих романов, остро ставящем нравственную, гражданскую проблематику, утверждающем понятия чести, долга, совести в мирное уже, только начавшее свой отсчет послевоенное, но обманчиво тихое время, который так и называется «Тишина» (1962), Юрий Бондарев сталкивает у буфетной стойки двух молодых людей: один – бывший шофер «каюши», сержант, а ныне просто инвалид, Павел, другой – вернувшийся в Москву капитан-артиллерист Сергей Вохминцев. Удивляясь его званию, Павел спрашивает:

«– А ты капитан? Когда же успел? С какого года? Лицо-то у тебя...

– С двадцать четвертого, – ответил Сергей.

– Счастли-и-вец, – протянул Павел и повторил твердо: – Счастливец... Повезло.

– Почему счастливец?

– Я, брат, по этим врачам да комиссиям натаскался, – заговорил Павел с хмурой веселостью. – «С двадцать четвертого года? – спрашивают. – Счастливец вы. К нам, – говорят, – с двадцать четвертого и двадцать третьего редко кто приходит».

Перебирая имена многих запомнившихся и полюбившихся героев Бондарева – капитана-артиллериста Бориса Ермакова («Батальоны просят огня», 1957), командира батареи Дмитрия Новикова («Последние залпы», 1959), лейтенанта Кузнецова («Горячий снег», 1969), героев тетралогии о русской интеллигенции – писателя Никитина («Берег», 1975), художника Васильева («Выбор», 1980), кинорежиссера Крымова («Игра», 1985), ученого Дроздова («Искушение», 1991), мы легко заметим, что они принадлежат к тому же, что и Вохминцев, поколению. К поколению, встретившему войну в восемнадцать мальчишеских лет и понесшему от ее смертоносного серпа наибольший урон.

Двадцать четвертый – год рождения Юрия Бондарева.

Он родился 15 марта 1924 года на Урале, в Орске, в семье народного следователя, восьмилетним мальчиком переехал с родителями в Москву. Школу-десятилетку сменила школа войны.

Его юность, опаленная войной, познавшая нечто такое, что другому человеку не узнать в течение всей его жизни («Нам было тогда и по двадцать лет и по сорок одновременно», – сказал он о своем поколении), настолько драматична, что, кажется, уже в силу одного этого требовала своего запечатления в слове, требовала осмысления тех страшных и героических событий, которые почти пять лет переживала наша Родина.

Три процента выжило из этого поколения! И вот эти немногие, уцелевшие в огненных смерчах, и делегировали в литературу внушительное число писателей, отмеченных ярким нравственным и художественным даром. Назову только нескольких из обширного списка: Владимир Богомолов, Юрий Бондарев, Василь Быков, Константин Воробьев, Юрий Гончаров, Евгений Носов.

Начиная с лютой зимы сорок второго года, когда на подступах к Сталинграду его ранило, Ю. Бондарев все последующие огневые годы был воином, не летописцем, а участником происходящего, командиром противотанкового орудия, возможным героем писавшихся тогда фронтовых очерков и корреспонденций.

В богатом творчестве писателя особое место занимает роман о Сталинградской эпопее «Горячий снег».

В нем Ю. Бондарева привлекала (говоря словами Льва Толстого) «мысль народная». Впрочем, писать иначе о Сталинграде, где решалась судьба Великой Отечественной войны, было бы просто невозможно. Эта «мысль народная» придала новизну произведению сразу в трех аспектах: во-первых, резко изменился *масштаб* повествования; во-вторых, писатель впервые сосредоточил свое внимание на том, как рождается, формируется на наших глазах характер молодого командира – Николая Кузнецова (до этого мы встречали уже сложившихся и как бы «затвердевших» в своем восприятии войны Ермакова и Новикова); наконец, качественно обогатилась та новаторская эстетическая система в изображении войны, основы которой были заложены писателем в повестях «Батальоны просят огня» и «Последние залпы».

В свое время принципиальным новаторством Льва Толстого явилось «двойное» художественное зрение, как бы зрение орла, позволяющее писателю в эпопее «Война и мир» охватывать взором огромное пространство, скажем, целое Бородинское поле в тысячу сажен, одновременно различать мельчайшие подробности в своих героях. «Мелочность» и «генерализация», как назвал это сам писатель, соединились нерасторжимо. Этот вот общий принцип мгновенной смены фокусов, свободного парения над картой событий и быстрого переключения в «частную» психологию был плодотворно использован целым рядом писателей XX века. Но до «Горячего снега» считалось, что это толстовское открытие может быть достоянием лишь пространной эпопеи.

В романе Ю. Бондарева появляются комдив Деев, член Военного совета Веснин, командарм Бессонов, наконец, Верховный Главнокомандующий Сталин (хотя по-прежнему действие замкнуто в тесные рамки одних суток, а в центре повествования – стоящая на передовом рубеже одна артиллерийская батарея). Плодотворный принцип «двойного зрения» обновленно проявился в некоей «двуполюсности» небольшого романа, втянувшего в себя благодаря этому содержание целой эпопеи. Иными словами, в «Горячем снеге» происходит постоянное переключение двух видений грандиозной битвы с дивизиями Манштейна, пытающимися прорваться к окруженной группировке Паулюса, – масштабное, всеохватывающее – командарма Бессонова и «окопное», ограниченное тесным пространством пятачка, занимаемого артиллерийской батареей, – лейтенанта Кузнецова.

Мысль о Сталинграде становится осевой, магистральной в романе «Горячий снег», подчиняя себе судьбы всех действующих лиц, воздействуя на их поступки и помыслы. Ю. Бондарев показывает тех героев Красной Армии – пехотинцев и артиллеристов, – на которых было направлено острие удара танковой лавины Манштейна, которые сражались насмерть на южном берегу реки Мышковки, были раздавлены, растоптаны стальным немецким башмаком, шагнущим-таки на северный берег, и все-таки продолжали жить, сопротивляться, уничтожать врага. Даже генерал Бессонов, мозг армии, ее стусившаяся в один комок воля, военачальник, который еще в 41-м выжиг в себе всякую жалость, снисхождение, поражается подвигу оставшихся в живых *там*, в тылу у противника, прорвавшегося, но потерявшего благодаря их нечеловеческому сопротивлению наступательную силу, напор, наконец остановленного и повернутого вспять.

Враг столкнулся с *таким* сопротивлением, которое, кажется, превосходило всякое представление о возможностях человека. С каким-то удивленным уважением вспоминают о силе духа советских воинов, об их решающем вкладе в победу многие из тех, кто был в той войне на стороне гитлеровцев. Так, прошедший полями России и оказавшийся в конце войны на Западе Бруно Винцер рассказывает в своей книге «Солдат трех армий»: «Еще несколько дней назад мы сражались против Красной Армии, и она нас победила, это бесспорно. Но эти здесь? Я не считал англичан победителями». И совсем не случайно престарелый и уже отставной фельд-

маршал Манштейн отказался встретиться с Ю. Бондаревым, узнав, что тот работает над книгой о Сталинградской битве.

Кто же остановил танковый таран Манштейна тогда, лютой зимой 1942 года? Кто совершил этот подвиг?

Писатель знакомит нас с солдатами и офицерами (точнее, командирами, так как звание «офицер» вошло в силу только с февраля следующего, победного для Сталинграда 1943 года) одной артиллерийской батареи, в которой оказываются сразу четыре однокашника, выпускники одного училища, – образцовый строевик, требовательный, подтянутый, комбат лейтенант Дроздовский, командиры взводов Кузнецов и Давлатян, старший сержант Уханов, которому за самоволку, совершенную перед самым производством, не присвоили звания.

Мы успеваем уже на первых страницах романа, во время убийственно долгого, невыносимого от лютой декабрьской стужи и усталости марша по ледяной степи – от железнодорожной станции и до боевых позиций – познакомиться и с другими героями, которым предстоит их подвиг. С наводчиком первого орудия сержантом Нечаевым, с молодым казаком Касымовым, с побывавшим в плену маленьким и жалким Чибисовым, со старшиной батареи Скориком, с двумя ездовыми – «худеньким, бледным, с испуганным лицом подростка» Сергуненковым и пожилым Рубиным, недоверчивым, безжалостным селянином. С санинструктором батареи Зоей Елагиной («в кокетливом белом полушубке, в аккуратных белых валенках, в белых вышитых рукавичках, не военная, вся, мнилось, празднично чистая, зимняя, пришедшая из другого, спокойного, далекого мира»).

Мастерство Бондарева-портретиста настолько выросло в сравнении с повестями «Батальоны просят огня» и «Последние залпы», что уже в экспозиции он очерчивает характеры *всех* участников предстоящей смертельной схватки, выразительно запечатляя некую духовную доминанту каждого из них. Чего, к примеру, стоит эпизод, когда при спуске орудия в овраг лошадь поломала передние ноги. Плачущий Сергуненков в последний раз кормит ее припрятанной горсткой овса, лошадь с человеческой обостренностью ощущает неотвратимое приближение своей гибели, а Рубин равнодушно, нет, даже с удовольствием, с какой-то мстительной жестокостью берется застрелить ее и не убивает одним выстрелом. И вот уже Уханов с ненавистью вырывает у него винтовку и, белея лицом, обрывает страдания животного.

Следует тут же добавить (и это опять-таки новая особенность для прозы Бондарева), что мы еще не раз узнаем в знакомых нам – побочных! – героях новые и как будто совершенно неожиданные для них, а на самом деле психологически убедительные, существенно меняющие первое впечатление черты. Если так неожиданно поворачиваются к нам своей новой гранью герои второстепенные, то ведущие – Кузнецов, Давлатян, Дроздовский – сразу, отчетливо и определенно настраивают читателя на свою «главную волну». Они достаточно интересны сами по себе, чтобы нужно было как-то переоценивать их. Мы погружаемся в глубину их характеров и в ходе выпавших им испытаний лишь уточняем маршруты путешествия их душ.

Только поверхностному наблюдателю Дроздовский может показаться «рыцарем без страха и упрека», новым Ермаковым или Новиковым. Уже первая встреча с командиром батареи понуждает читателя настороженно взглянуть в него: слишком много показного, демонстративного, рисовки и позы. Впрочем, не только поверхностному, но еще и взгляду любящему. Когда в момент нападения на станцию «мессеров» Дроздовский выбегает из вагона и посылает во вражеские истребители очередь за очередью из ручного пулемета, санинструктор Зоя раздраженно бросает Кузнецову: «А, лейтенант Кузнецов? Что же вы по самолетам не стреляете? Трусите? Один Дроздовский?..»

Бесспорно, вблизи эффектного, холодно-непроницаемого и как бы заряженного на риск, на подвиг Дроздовского Кузнецов выглядит слишком «будничным», «человечным», «домашним». Качества солдата и командира раскроются в нем лишь позднее, в течение суток страшного сражения с танками у Мышковки, в ходе его самовоспитания в подвиге. Пока еще в нем

неистребимо живет «московский мальчик», вчерашний десятиклассник, – так видится он и разбитному Уханову, и мрачно молчаливому Рубину, и самой Зое Елагиной (которая вместе с Дроздовским скрывает от всех, что они муж и жена: на фронте не до супружеских нежностей).

Но если Зое Елагиной придется медленно, мучительно переоценивать этих двух героев – Дроздовского и Кузнецова, то читатель гораздо раньше обнаружит потенциальную силу каждого из них.

Рассказывая о создании романа «Горячий снег», Ю. Бондарев так определил понятие героизма на войне: «Мне кажется, героизм – это постоянное преодоление в сознании своем сомнений, неуверенности, страха. Представьте себе: мороз, ледяной ветер, один сухарь на двоих, замерзшая смазка в затворах автоматов; пальцы в заиндевевших рукавицах не сгибаются от холода; злоба на повара, запоздавшего на передовую; отвратительное посасывание под ложечкой при виде входящих в пике «юнкеров»; гибель товарищей... А через минуту надо идти в бой, навстречу всему враждебному, что хочет убить тебя. В эти мгновения спрессована вся жизнь солдата, эти минуты – быть или не быть – это миг преодоления себя. Это героизм «тихий», вроде скрытый от постороннего взгляда, героизм в себе. Но он определил победу в минувшей войне, потому что воевали миллионы».

Героизм миллионов пронизывал всю толщу Красной Армии, которая предстает в романе как глубокое и полное выражение русского характера, как воплощение нравственного императива многонационального советского народа. Бронированному фашистскому кулаку в четырехста танков противостояли люди, которые не просто выполняли свой воинский долг. Нет, уже выполнив его, они продолжали совершать нечеловеческие усилия, как бы отказываясь умирать, сражаясь, кажется, за чертой смерти. Здесь проявилось то великое терпение русского народа, за которое поднял тост победной весной сорок пятого года Сталин.

Эти долготерпение и выносливость проявляются каждый миг и час – в «тихом» героизме Кузнецова и его боевых товарищей Уханова, Нечаева, Рубина, Зои Елагиной и в мудром выживании Бессонова, решившего не расплыть, держать до последнего, переломного момента два корпуса, которые должны подойти. Как сфокусированный луч, слово «Сталинград» прожигает насквозь, понуждая каждого чувствовать себя частицей общего монолита, одушевленного одной идеей: выстоять.

Вблизи этого общего «тихого» героизма особенно театральным и нелепым выглядит поведение лейтенанта Дроздовского. Однако, чтобы окончательно рухнули театральные декорации, воздвигнутые его эгоистической фантазией, и ему открылся подлинный лик войны – как грубой, тяжелой, будничной «черновой» работы, чтобы он почувствовал крах и жалкость своего желания личного триумфа, он должен потерять свою Зою. Потерять ее, так сказать, физически, потому что духовно, нравственно он уже потерял ее раньше, когда романтический облик его разрушался, истаявал на «горячем снегу» войны.

Зоя Елагина – еще один и совершенно новый женский образ в ряду военных произведений Бондарева, где, если присмотреться, намечается перспектива ослабления *чувственного* и возобладания *духовного* начала в показе любви на войне: от вполне «земной», не скрывающей своей неверности Ермакову Шуры в «Батальонах...» к девичьи пылкой Лене в «Последних залпах», а далее – к Зое Елагиной, которая так нравственна и чиста, что ее пугает самая возможность прикосновения к ней, раненой, чужих мужских рук. В конце романа Зоя получает ранение в живот и сама кончает счеты с жизнью.

Тоска художника по идеалу, особенно важная, когда в наше время идеалы подвергаются систематическому разрушению, планомерному «выветриванию», породила стремление изобразить душу возвышенную и чистую, как бы выделить идеальное женское начало. Сама «декристаллизация» любви к Дроздовскому и смутное, как бы еще «предчувствие» к Кузнецову не несут в себе ничего «скромного», грубо земного, физиологического. Впрочем, и сам Кузнецов и не может, и не хочет переступить порог чистого, детски бескорыстного влечения к Зое.

У Кузнецова и Зои была только одна близость – близость смерти под прямыми ударами танковых орудий.

Выживший и выстоявший в нечеловеческих испытаниях, Кузнецов обретает *народное* отношение к смерти, прежде всего к смерти собственной, просто не думая о ней. «Суть неции от zde стоящих, иже не имут вкусити смерти...» («Есть такие из здесь стоящих, которые не узнают смерти», – сказано в Евангелии). Смерть отступает от него, предоставляя ему скорбную возможность хоронить других: младшего сержанта Чубарикова, «с наивно-длинной, как стебель подсолнуха, шеей»; наводчика Евстигнеева, «с извилистой стружкой крови, запекшейся возле уха»; окровавленного широкоскулого Касымова; Зою, которую понесут на его, кузнецовской, шинели.

В изображении войны и человека на войне в романе «Горячий снег» мы видим новое для Бондарева, можно сказать, шолоховское начало. Это шолоховское начало вывело Бондарева-прозаика к глубинам эпоса, позволило спрессовать огромное число людских судеб, характеров, событий в единое целое, в некий художественный монолит. Оно существенным образом сказалось и на бондаревской эстетике в изображении войны.

Уже в повестях «Батальоны просят огня» и «Последние залпы» Ю. Бондарев явил нам как бы новую эстетику в передаче подробностей боя. Красочные, поражающие силой внешней изобразительности картины боя – пикирующих бомбардировщиков, танковых атак, артиллерийских дуэлей – выделялись из всей огромной массы того, что писалось о Великой Отечественной войне, некоей уже «одушевленностью» этих рукотворных тварей, словно бы гигантских металлических насекомых – ползающих, прыгающих, летающих. Однако в этой плодотворной (и новаторской) тенденции была опасность увлечения именно изобразительной стороной в показе войны, что можно было бы назвать опасностью *излишества мастерства*.

Именно в «Горячем снеге» проза Ю. Бондарева окончательно теряет отсвет щеголеватости, лишается некоего желания писателя продемонстрировать свои изобразительные возможности. Он как бы осуществляет в художественной практике боевой принцип Суворова – сразу к цели, сближение, бой! Слова взрываются, страдают, мучаются, словно живые люди. Нет техники, нет мастерства: есть текучая, живая, гипнотизирующая нас жизнь.

Теряя избыточность красок, бондаревская эстетика в показе войны становится строже и от этого только наращивает внутреннюю изобразительную силу. Это позволяет автору в «двуполюсном романе» использовать стремительную смену планов, масштабов изображения, переходить от глубинного психологического анализа к свободной эпической манере, где события рассматриваются словно с огромной высоты.

Само появление романа «Горячий снег» сделало ненужной, отменило, показало бесплодной дискуссией об «окопной» и «масштабной» правде. Здесь обе эти правды слиты воедино, что и явило читателю целостную, не фрагментарную панораму Сталинградской эпопеи. В этом смысле особого внимания заслуживает образ командарма Бессонова. В критике говорилось о нем как о подлинном художественном открытии в литературе: это полководец, психолог, мыслитель. Присутствие Бессонова придает всему строю произведения не только широкую масштабность, но и резко усиливает в нем социально-философский характер. Однако главная черта командарма – его способность воплощать, аккумулировать в себе волю к победе, передавая ее бойцам и командирам.

В романе как бы два Бессонова. Один – внешний, явленный всем: официальный, сухой до черствости, говорящий скрипучим, неприятным голосом, безжалостно решающий судьбы людей. Какая-то смертельная волна – «извращенное право отнимать и дарить жизнь» – исходит от него. Но она же требует взамен своей платы, и платы жестокой.

Потому что «второй Бессонов» – это ведомая только ему внутренняя жизнь, мучительное путешествие души, тонко и высоко, можно сказать, музыкально организованной, которую больно царапает, оставляя незаживающие порезы, необходимость постоянной жестокости

и необходимость «электризации» подчиненных, охваченных одним стремлением: выстоять, вытерпеть.

Стальной хваткой зажал в себе командарм любое проявление человечности как ненужной слабости. Он скрывает и «внезапный укол нежности» к командиру дивизии, двадцатидевятилетнему Дееву, который просит самому прорваться с автоматчиками к окруженным уже батальонам Черепанова; старается не внимать отозвавшемуся в раненой ноге толчком боли крику Ажермачева, отданного им под трибунал; отклоняет отношения «накоротке» с деликатным, мягким членом Военного совета Весниным. И если «второй» Бессонов все-таки хочет, пытается проявить слабость, «первый» тотчас останавливает его.

Не позволяя себе расслабиться перед другими, он сам судит себя с тою же, нет, с еще большей, чем остальных, требовательностью и жестокостью. Приходит неожиданная весть о гибели члена Военного совета, и командарм остается один на один со своими переживаниями, никому не давая права разделить их тяжесть. Только теперь он понимает, что в своих незаметных, но влиявших на ход событий поступках член Военного совета Веснин исходил из какого-то более высокого духовного принципа – и тогда, когда, оставаясь в тени, помогал ему освоиться в незнакомом коллективе и когда своим тактичным вмешательством спас жизнь молодому растерявшемуся танкисту Ажермачеву.

Вглядываясь в юные лица, слыша голоса на высокой ноте («как будто в училище рапортует»), командарм думает о своем сыне, младшем лейтенанте, пропавшем без вести с остатками 2-й ударной армии, которая была предана генералом Власовым.

«Плен, постыдный плен...» О том, что его Виктор в плену, Бессонов не знает, но это прекрасно известно немцам, распространившим листовки с фотографией худенького мальчика, остриженного наголо, в гимнастерке с кубиком младшего лейтенанта. Вмешательство тактично мудрого Веснина не позволит, чтобы эта листовка попала к несчастному отцу – она так и осталась у члена Военного совета до его гибели. Но о трагической судьбе бессоновского сына ведомо многим по *этой* стороне фронта. От начальника контрразведки полковника Осина и до Верховного Главнокомандующего Сталина, который лично назначает Бессонова командующим армией под Сталинградом.

Сцена встречи со Сталиным выявляет в Бондареве-художнике еще одну, неведомую нам доселе особенность его дарования: способность ввести крупную историческую фигуру с такой выверенной, осторожной правдивостью, что она своим «атомным весом», своей реальной тяжестью не «проламывает» основу романа, построенную на судьбах вымышленных героев.

Разговор Сталина с Бессоновым о «первых Каннах» в районе Сталинграда – это разговор двух полководцев, двух военачальников, один из которых превосходит другого масштабностью кругозора, знанием всей глобальной обстановки («Это он знает лучше меня, и, наверно, говорю я нехстати», – подумал Бессонов). Но это и психологическое «прощупывание» нового командарма, который учился, а потом преподавал в академии одновременно с изменником Родины генералом Власовым и у которого (чего Бессонов не знает) сын попал в плен под Волховом. Острота мысли, зоркость, недоверчивость, раздражительность (упомянув о Власове, Сталин позволяет прорваться этому чувству), вера в непогрешимость своих суждений – все это накладывает глубокие, живые краски, смело распределяя свет и тени на портрете Сталина.

Кульминацией разговора является внезапный переход от помянутых Сталиным ставших жертвой клеветы военачальников (Бессонов подтверждает, что имел на это «свою личную точку зрения») к судьбе Виктора: «А что касается вашего сына, товарищ Бессонов, не будем зачислять его в списки пленных. Будем считать его пропавшим без вести... Мой старший сын, Яков, тоже в начале войны пропал без вести. Так что мы в одинаковом положении, товарищ Бессонов». И сразу после этого (внутреннее решение уже принято, упрямый маленький и худой генерал понравился Верховному, который «иногда позволял очень немногим из приближенных людей высказывать свое личное, свое особое мнение», – комментирует автор) Сталин

неожиданно улыбается, лицо его становится мягким, домашним, добрым, тает латунно-жесткий холодок в его глазах.

До подлинно *народного* пафоса поднимается писатель в заключительных страницах романа, когда на выжженных, разбитых, но не мертвых позициях батареи появляется Бессонов, приказав взять с собой все имеющиеся в распоряжении Деева ордена. Он не может, не позволяет себе обнимать этих выживших, выстоявших героев, говорить им «растроганным голосом», как это делает взволнованный Деев. Все слова кажутся сейчас командарму ничемными, пустопорожними. Вручая им ордена Красного Знамени, он только способен «насилу выговорить»: «Все, что лично могу... Все, что могу... Спасибо за подбитые танки. Это было главное...»

В концовке «Горячего снега» достигается та степень трогательности, когда, сопрягаясь с особенным, жизненно близким тебе материалом, волнует то, что ранее могло бы показаться умильным, сентиментальным. До эпического масштаба возвышаются фигуры артиллеристов, презревших саму смерть.

В одноименном фильме роль командарма Бессонова проникновенно сыграл народный артист России Георгий Жженов.

...В последние годы Юрий Бондарев создает лирические и одновременно философские миниатюры, своего рода стихотворения в прозе, в традициях Тургенева и Бунина, – «Мгновения». На события «перестройки» и последнего, «постперестроечного» времени писатель откликнулся жгуче-злободневными романами «Непротivление» и «Бермудский треугольник».

В своем интервью газете «Правда» от 6–9 февраля 2004 года Юрий Бондарев так определил сущность художественной литературы и задачу писателя: «Непоколебимо остается слово, как несмываемый знак, никуда не исчезающий, как тайна «философского камня». Талантливая книга из произведения искусства превращается в материальную реальность, в сущность земного бытия, подобно явлению природы. Да, серьезная литература утверждает свое национальное сознание в общем сознании мировой культуры – и в этом ее непреходящее значение...»

Серьезная литература – поступок, божественная правда, если хотите, подвиг, который не способен на уступки, заискивания и поклоны. Правда не подвержена предательству, ибо она, правда, не может предать самое себя».

Лауреат двух Государственных премий СССР, Литературной премии имени Льва Толстого, Герой Социалистического Труда Юрий Бондарев остается верен русскому слову или, точнее, Слову, по самой сути бытия творящему свой мир, то художественное пространство, в котором торжествует правда жизни.

Олег Михайлов

Горячий снег



Глава первая



Кузнецову не спалось. Все сильнее стучало, гремело по крыше вагона, вьюжно ударили нахлесты ветра, все плотнее забивало снегом едва угадываемое оконце над нарами.

Паровоз с диким, раздирающим метель ревом гнал эшелон в ночных полях, в белой, несущейся со всех сторон мути, и в гремучей темноте вагона, сквозь мерзлый визг колес, сквозь тревожные всхлипы, бормотание во сне солдат был слышен этот непрерывно предупреждающий кого-то рев паровоза, и чудилось Кузнецову, что там, впереди, за метелью, уже мутно проступало зарево горящего города.

После стоянки в Саратове всем стало ясно, что дивизию срочно перебрасывают под Сталинград, а не на Западный фронт, как предполагалось вначале; и теперь Кузнецов знал, что ехать оставалось несколько часов. И, натягивая на щеку жесткий, неприятно влажный воротник шинели, он никак не мог согреться, набрать тепло, чтобы уснуть: пронзительно дуло в невидимые щели заметенного оконца, ледяные сквозняки гуляли по нарам.

«Значит, я долго не увижу мать, – съезживаясь от холода, подумал Кузнецов, – нас провезли мимо...»

То, что было прошлой жизнью, – летние месяцы в училище в жарком, пыльном Актюбинске, с раскаленными ветрами из степи, с задыхающимися в закатной тишине криками ишаков на окраинах, такими ежевечерне точными по времени, что командиры взводов на тактических занятиях, изнывая от жажды, не без облегчения сверяли по ним часы, марши в одуряющем зное, пропотевшие и выжженные на солнце добела гимнастерки, скрип песка на зубах; воскресное патрулирование города, в городском саду, где по вечерам мирно играл на танцпло-

щадке военный духовой оркестр; затем выпуск в училище, погрузка по тревоге осенней ночью в вагоны, угрюмый, в диких снегах лес, сугробы, землянки формировочного лагеря под Тамбовом, потом опять по тревоге на морозно розовеющем декабрьском рассвете спешная погрузка в эшелон и, наконец, отъезд – вся эта зыбкая, временная, кем-то управляемая жизнь потускнела сейчас, оставалась далеко позади, в прошлом. И не было надежды увидеть мать, а он совсем недавно почти не сомневался, что их повезут на запад через Москву.

«Я напишу ей, – с внезапно обострившимся чувством одиночества подумал Кузнецов, – и все объясню. Ведь мы не виделись девять месяцев...»

А весь вагон спал под скрежет, визг, под чугунный гул разбежавшихся колес, стены туго качались, верхние нары мотало бешеной скоростью эшелона, и Кузнецов, вздрагивая, окончательно прозябнув на сквозняках возле оконца, отогнул воротник, с завистью посмотрел на спящего рядом командира второго взвода лейтенанта Давлатяна – в темноте нар лица его не было видно.

«Нет, здесь, возле окна, я не усну, замерзну до передовой», – с досадой на себя подумал Кузнецов и задвигался, пошевелился, слыша, как хрустит иней на досках вагона.

Он высвободился из холодной, колючей тесноты своего места, спрыгнул с нар, чувствуя, что надо обогреться у печки: спина вконец окоченела.

В железной печке сбоку закрытой двери, мерцающей толстым инеем, давно погас огонь, только неподвижным зрачком краснело поддувало. Но здесь, внизу, казалось, было немного теплее. В вагонном сумраке этот багровый отсвет угля слабо озарял разнообразно торчащие в проходе новые валенки, котелки, вещмешки под головами. Дневальный Чибисов неудобно спал на нижних нарах, прямо на ногах солдат; голова его до верха шапки была упрятана в воротник, руки засунуты в рукава.

– Чибисов! – позвал Кузнецов и открыл дверцу печки, повеявшей изнутри еле уловимым теплом. – Все погасло, Чибисов!

Ответа не было.

– Дневальный, слышите?

Чибисов испуганно вскинулся, заспанный, помятый, шапка-ушанка низко надвинута, стянута тесемками у подбородка. Еще не очнувшись ото сна, он пытался оттолкнуть ушанку со лба, развязать тесемки, непонимающе и робко вскрикивая:

– Что это я? Никак, заснул? Ровно оглушило меня беспамятством. Извиняюсь я, товарищ лейтенант! Ух, до косточек пробрало меня в дремоте-то!..

– Заснули и весь вагон выстудили, – сказал с упреком Кузнецов.

– Да не хотел я, товарищ лейтенант, невзначай, без умыслу, – забормотал Чибисов. – Повалило меня...

Затем, не дожидаясь приказаний Кузнецова, с излишней бодростью засуетился, схватил с пола доску, разломал ее о колено и стал заталкивать обломки в печку. При этом бестолково, будто бока чесались, двигал локтями и плечами, часто нагибаясь, деловито заглядывал в поддувало, где ленивыми отблесками заползал огонь; ожившее, запачканное сажей лицо Чибисова выражало заговорщицкую подобострастность.

– Я теперича, товарищ лейтенант, тепло нагоню! Накалим, ровно в баньке будет. Иззябся я сам за вой ну-то! Ох как иззябся, каждую косточку ломит – слов нет!..

Кузнецов сел против раскрытой дверцы печки. Ему неприятна была преувеличенно нарочитая суетливость дневального, этот явный намек на свое прошлое. Чибисов был из его взвода. И то, что он, со своим неумеренным старанием, всегда безотказный, прожил несколько месяцев в немецком плену, а с первого дня появления во взводе постоянно готов был услужить каждому, вызывало к нему настороженную жалость.

Чибисов мягко, по-бабьи опустил на нары, непрспаные глаза его моргали.

– В Сталинград, значит, едем, товарищ лейтенант? По сводкам-то какая мясорубка там! Не боязно вам, товарищ лейтенант? Ничего?

– Приедем – увидим, что за мясорубка, – вяло отозвался Кузнецов, всматриваясь в огонь. – А вы что, боитесь? Почему спросили?

– Да, можно сказать, того страху нету, что раньше-то, – фальшиво весело ответил Чибисов и, вздохнув, положил маленькие руки на колени, заговорил доверительным тоном, как бы желая убедить Кузнецова: – После, как наши из плена-то меня освободили, поверили мне, товарищ лейтенант. А я цельных три месяца, ровно щенок в дерьме, у немцев просидел. Поверили... Война вон какая огромная, разный народ воюет. Как же сразу верить-то? – Чибисов скосился осторожно на Кузнецова; тот молчал, делая вид, что занят печкой, обогреваясь ее живым теплом: сосредоточенно сжимал и разжимал пальцы над открытой дверцей. – Знаете, как в плен-то я попал, товарищ лейтенант?.. Не говорил я вам, а сказать хочу. В овраг нас немцы загнали. Под Вязьмой. И когда танки ихние вплотную подошли, окружили, а у нас и снарядов уж нет, комиссар полка на верх своей «эмки» выскочил с пистолетом, кричит: «Лучше смерть, чем в плен к фашистским гадам!» – и выстрелил себе в висок. От головы брызнуло даже. А немцы со всех сторон бегут к нам. Танки их живьем людей душат. Тут и... полковник и еще кто-то...

– А потом что? – спросил Кузнецов.

– Я в себя выстрелить не мог. Сгрудили нас в кучу, орут «хенде хох». И повели...

– Понятно, – сказал Кузнецов с той серьезной интонацией, которая ясно говорила, что на месте Чибисова он поступил бы совершенно иначе. – Так что, Чибисов, они закричали «хенде хох» – и вы сдали оружие? Оружие-то было у вас?

Чибисов ответил, робко защищаясь натянутой полуулыбкой:

– Молодой вы очень, товарищ лейтенант, детей, семьи у вас нет, можно сказать. Родители небось...

– При чем здесь дети? – проговорил со смущением Кузнецов, заметив на лице Чибисова тихое, виноватое выражение, и прибавил: – Это не имеет никакого значения.

– Как же не имеет, товарищ лейтенант?

– Ну, я, может быть, не так выразился... Конечно, у меня нет детей.

Чибисов был старше его лет на двадцать – «отец», «папаша», самый пожилой во взводе. Он полностью подчинился Кузнецову по долгу службы, но Кузнецов, теперь поминутно помня о двух лейтенантских кубиках в петлицах, сразу обременивших его после училища новой ответственностью, все-таки каждый раз чувствовал неуверенность, разговаривая с прожившим жизнь Чибисовым.

– Ты, что ли, не спишь, лейтенант, или померещилось? Печка горит? – раздался сонный голос над головой.

Послышалась возня на верхних нарах, затем грузно, по-медвежьи прыгнул к печке старший сержант Уханов, командир первого орудия из взвода Кузнецова.

– Замерз, как цуцик! Греетесь, славяне? – спросил, протяжно зевнув, Уханов. – Или сказки рассказываете?

Вздрагивая тяжелыми плечами, откинув полу шинели, он пошел к двери по качающемуся полу. С силой оттолкнул одной рукой загремевшую громоздкую дверь, прислонился к щели, глядя в метель. В вагоне вьюжно завихрился снег, подул холодный воздух, паром понесло по ногам; вместе с грохотом, морозным взвизгиванием колес ворвался дикий, угрожающий рев паровоза.

– Эх, и волчья ночь – ни огня, ни Сталинграда! – подергивая плечами, выговорил Уханов и с треском задвинул обитую по углам железом дверь.

Потом, постукав валенками, громко и удивленно крякнув, подошел к уже накалившейся печке; насмешливые, светлые глаза его были еще налиты дремой, снежинки белели на бровях.

Присел рядом с Кузнецовым, потер руки, достал кисет и, вспоминая что-то, засмеялся, сверкнул передним стальным зубом.

– Опять жратва снилась. Не то спал, не то не спал: будто какой-то город пустой, а я один... вошел в какой-то разбомбленный магазин – хлеб, консервы, вино, колбаса на прилавках... Вот, думаю, сейчас рубану! Но замерз, как бродяга под сетью, и проснулся. Обидно... Магазин целый! Представляешь, Чибисов!

Он обратился не к Кузнецову, а к Чибисову, явно намекая, что лейтенант не чета остальным.

– Не спорю я с вашим сном, товарищ старший сержант, – ответил Чибисов и втянул ноздрями теплый воздух, точно шел от печки ароматный запах хлеба, кротко поглядев на ухановский кисет. – А ежели ночью совсем не курить, экономия обратно же. Сокруток десять.

– О-огромный дипломат ты, папаша! – сказал Уханов, сунув кисет ему в руки. – Свертывай хоть толщиной в кулак. На кой дьявол экономить? Смысл? – Он прикурил и, выдохнув дым, поковырял доской в огне. – А уверен я, братцы, на передовой с жратвой будет получше. Да и трофеи пойдут! Где есть фрицы, там трофеи, и тогда уж, Чибисов, не придется всем колхозом подметать допмаек лейтенанта. – Он подул на сигарку, сощурился: – Как, Кузнецов, не тяжелы обязанности отца-командира, а? Солдатам легче – за себя отвечай. Не жалеешь, что слишком много гавриков на твоей шее?

– Не понимаю, Уханов, почему тебе не присвоили звания? – сказал несколько задетый его насмешливым тоном Кузнецов. – Может, объяснишь?

Со старшим сержантом Ухановым он вместе заканчивал военное артиллерийское училище, но в силу непонятных причин Уханова не допустили к экзаменам, и он прибыл в полк в звании старшего сержанта, зачислен был в первый взвод командиром орудия, что чрезвычайно стесняло Кузнецова.

– Всю жизнь мечтал! – добродушно усмехнулся Уханов. – Не в ту сторону меня понял, лейтенант... Ладно, вздремнуть бы минуток шестьсот. Может, опять магазин приснится? А? Ну, братцы, если что, считайте не вернувшимся из атаки...

Уханов швырнул окурок в печку, потянулся, встав, косолапо пошел к нарам, тяжеломерно вспрыгнул на зашуршавшую солому; расталкивая спящих, приговаривал: «А ну-ка, братцы, освободи жизненное пространство». И скоро затих наверху.

– Вам бы тоже лечь, товарищ лейтенант, – вздохнув, посоветовал Чибисов. – Ночь-то короткая, видать, будет. Не беспокойтесь, за-ради бога.

Кузнецов с пылающим у печного жара лицом тоже поднялся, выработанным строевым жестом оправил кобуру пистолета, приказывающим тоном сказал Чибисову:

– Исполняли бы лучше обязанности дневального!

Но, сказав это, Кузнецов заметил оробелый, ставший пришибленным взгляд Чибисова, ощутил неоправданность начальственной резкости – к командному тону его шесть месяцев приучали в училище – и неожиданно поправился вполголоса:

– Только чтоб печка, пожалуйста, не погасла. Слышите?

– Ясенько, товарищ лейтенант. Не сумлевайтесь, можно сказать. Спокойного сна...

Кузнецов влез на свои нары, в темноту, несогретую, ледяную, скрипящую, дрожащую от неистового бега поезда, и здесь почувствовал, что опять замерзнет на сквозняке. А с разных концов вагона доносились храп, сопение солдат. Слегка потеснив спящего рядом лейтенанта Давлатяна, сонно всхлипнувшего, по-детски зачмокавшего губами, Кузнецов, дыша в поднятый воротник, прижимаясь щекой к влажному, колкому ворсу, зябко стягиваясь, коснулся коленями крупного, как соль, инея на стене – и от этого стало еще холоднее.

С влажным шорохом под ним скользила слежавшаяся солома. Железисто пахли промерзшие стены, и все несло и несло в лицо тонкой и острой струей холода из забитого метельным снегом сереющего оконца над головой.

А паровоз, настойчивым и грозным ревом раздирая ночь, мчал эшелон без остановок в непроглядных полях – ближе и ближе к фронту.

Глава вторая

Кузнецов проснулся от тишины, от состояния внезапного и непривычного покоя, и в его полусонном сознании мелькнула мысль: «Это выгрузка! Мы стоим! Почему меня не разбудили?..»

Он спрыгнул с нар. Было тихое морозное утро. В широко раскрытую дверь вагона дуло холодом; после успокоившейся к утру метели вокруг неподвижно, зеркально до самого горизонта выгибались волны нескончаемых сугробов; низкое без лучей солнце грузным малиновым шаром висело над ними, и остро сверкала, искрилась размельченная изморозь в воздухе.

В насквозь выстуженном вагоне никого не было. На нарах – смятая солома, красновато светились карабины в пирамиде, валялись на досках развязанные вещмешки. А возле вагона кто-то пушечно хлопал рукавицами, крепко, свежо в тугой морозной тишине звенел снег под валенками, звучали голоса:

– Где же, братцы славяне, Сталинград?

– Не выгружаемся вроде? Команды никакой не было. Успеем пожрать. Должно, не доехали. Наши уже вон с котелками идут.

И еще кто-то проговорил хрипловато и весело:

– Ох и ясное небо, налетят они!.. В самый раз!

Кузнецов, мгновенно стряхнув остатки сна, подошел к двери и от жгучего сияния пустынных под солнцем снегов зажмурился даже, охваченный режущим морозным воздухом.

Эшелон стоял в степи. Около вагона, на прибитом метелью снегу, группами толпились солдаты; возбужденно толкались плечами, согреваясь, хлопали рукавицами по бокам, то и дело оборачивались – все в одном направлении.

Там, в середине эшелона, в леденцовой розовости утра дымили на платформе кухни, напротив них нежно краснела из сугробов крыша одинокого здания разъезда. К кухням, к домику разъезда бежали солдаты с котелками, и снег вокруг кухонь, вокруг журавля-колодца по-муравьиному кишел шинелями, ватниками – весь эшелон, казалось, набирал воду, готовился к завтраку.

У вагона шли разговоры:

– Ну и пробирает, кореш, от подметок! Градусов тридцать, наверно? Сейчас бы избенку потеплей да бабенку посмелей, и – «В парке Чаир распускаются розы...».

– Нечаеву все одна ария. Кому что, а ему про баб! Во флоте-то тебя небось шоколадами кормили – вот и кобелировал, палкой не отгонишь!

– Не так грубо, кореш! Что ты можешь в этом понимать! «В парке Чаир наступает весна...» Деревенщина, брат, ты.

– Тьфу, жеребец! Опять то же!

– Давно стоим? – спросил Кузнецов, не обращаясь ни к кому в отдельности, и спрыгнул на заскрипевший снег.

Увидев лейтенанта, солдаты, не переставая толкаться, притопывать валенками, не вытянулись в уставном приветствии («Привыкли, черти!» – подумал Кузнецов), лишь прекратили на минуту разговор; у всех иней колюче серебрился на бровях, на мехе ушанок, на поднятых воротниках шинелей. Наводчик первого орудия сержант Нечаев, высокий, поджарый, из дальневосточных моряков, заметный бархатными родинками, косыми бачками на скулах и темными усиками, сказал:

– Приказано было не будить вас, товарищ лейтенант. Уханов сказал: ночь дежурили. Пока аврала не наблюдается.

– А где Дроздовский? – Кузнецов нахмурился, взглянул на блещущие иглы солнца.

– Туалет, товарищ лейтенант, – подмигнул Нечаев.

Метрах в двадцати, за сугробами, Кузнецов увидел командира батареи лейтенанта Дроздовского. Еще в училище он выделялся подчеркнутой, будто врожденной своей выправкой, властным выражением тонкого бледного лица – лучший курсант в дивизионе, любимец командиров-строевиков. Сейчас он, голый по пояс, играя крепкими мускулами гимнаста, ходил на виду у солдат и, наклоняясь, молча и энергично растирался снегом. Легкий пар шел от его гибкого, юношеского торса, от плеч, от чистой, безволосой груди; и в том, как он умывался и растирался пригоршнями снега, было что-то демонстративно упорное.

– Что ж, правильно делает, – сказал серьезно Кузнецов.

Но, зная, что сам не сделает этого, он снял шапку, сунул ее в карман шинели, расстегнул ворот, подхватил пригоршню жесткого, шершавого снега и, до боли надирая кожу, потер щеки и подбородок.

– Какой сюрприз! Вы к нам? – услышал он преувеличенно обрадованный голос Нечаева. – Как мы рады вас видеть! Мы вас всей батареей приветствуем, Зочка!

Умываясь, Кузнецов задохнулся от холода, от пресно-горького вкуса снега и, выпрямившись, переводя дыхание, уже достав вместо полотенца носовой платок – не хотелось возвращаться в вагон, – опять услышал позади смех, громкий говор солдат. Потом свежий женский голос сказал за спиной:

– Не понимаю, первая батарея, что у вас здесь происходит?

Кузнецов обернулся. Вблизи вагона среди улыбающихся солдат стояла санинструктор батареи Зоя Елагина в кокетливом белом полушубке, в аккуратных белых валенках, в белых вышитых рукавичках, не военная, вся, мнилось, празднично чистая, зимняя, пришедшая из другого, спокойного, далекого мира. Зоя строгими, сдерживающими смех глазами смотрела на Дроздовского. А он, не замечая ее, тренированными движениями, сгибаясь и разгибаясь, быстро растирал сильное порозовевшее тело, бил ладонями по плечам, по животу, делая выдохи, несколько театрально подымая грудную клетку вдохами. Все теперь смотрели на него с тем же выражением, какое было в глазах Зои.

– Лейтенант! – окликнула Зоя звонким голосом. – Можно спросить: когда вы окончите процедуру? Я хотела бы к вам обратиться.

Лейтенант Дроздовский стяхнул с груди снег и с неодобрительным видом человека, которому помешали, развязал полотенце на талии, разрешил без охоты:

– Обращайтесь.

– Доброе утро, товарищ комбат! – сказала она, и Кузнецов, вытираясь платком, увидел, как чуть подрожали кончики ее ресниц, мохнато опущенных инеем. – Вы мне нужны. Ваша батарея может уделить мне внимание?

Не спеша Дроздовский перекинул полотенце через шею, двинулся к вагону; поблескивали, лоснились омытые снегом плечи; короткие волосы влажны; он шел, властно глядя на толпившихся у вагона солдат своими синими, почти прозрачными глазами. На ходу уронил небрежно:

– Догадываюсь, санинструктор. Пришли в батарею произвести осмотр по форме номер восемь? Вшей нет.

– Дорогая Зочка! – подхватил сержант Нечаев, скользя размягченным взглядом по опрятно-чистенькому полушубку Зои, по санитарной сумке на ее бедре. – В нашей батарее абсолютный порядок. Паразитических насекомых днем с огнем не найдете. Не тот адрес... Как сегодня спали? Никто не мешал?

– Много болтаете, Нечаев! – отсек Дроздовский и, пройдя мимо Зои, взбежал по железной лесенке в вагон, наполненный говором вернувшихся от кухни, взбудораженных перед завтраком солдат, с дымящимся супом в котелках, с тремя набитыми сухарями и буханками хлеба вещмешками. Солдаты с обычной для такого дела толкотней расстилали на нижних нарах чью-

то шинель, приглатываясь на ней резать хлеб, нажатые холодом лица озабочены хозяйственной занятостью. И Дроздовский, надевая гимнастерку, одергивая ее, скомандовал:

– Тихо! Нельзя ли без базара? Командиры орудий, наведите порядок! Нечаев, что вы там стоите? Займитесь-ка продуктами. Вы, кажется, мастер делить! С санитарструктором займутся без вас.

Сержант Нечаев извинительно кивнул Зое, взобрался в вагон, подал оттуда голос:

– В чем причина, кореш, прекратить аврал! Чего расшумелись, как танки?

И Кузнецов, испытывая неудобство оттого, что Зоя видела эту шумную суету занятых дележкой продуктов солдат, уже не обращавших на нее внимания, хотел сказать с какой-то ужасающей его самой лихой интонацией: «Вам в самом деле нет смысла проводить в наших взводах осмотр. Но просто хорошо, что вы к нам пришли».

Он до конца не объяснил бы самому себе, почему почти каждый раз при появлении Зои в батарее всех толкало на этот отвратительный, пошлый тон, на который подмывало сейчас и его, беспечный тон заигрывания, скрытого намека, будто ее приход ревниво раскрывал что-то каждому, будто на ее слегка заспанном лице, порой в тени под глазами, в ее губах читалось нечто обещающее, порочное, тайное, что могло быть у нее с медсанбатскими молодыми врачами в санитарном вагоне, где находилась она большую часть пути. Но Кузнецов догадывался, что на каждой остановке она приходила в батарею не только для санитарного осмотра. Ему казалось, что она искала общения с Дроздовским.

– В батарее все в порядке, Зоя, – проговорил Кузнецов. – Не нужно никаких осмотров. Тем более – завтрак.

Зоя дернула плечами.

– Ка-акой особый вагон! И никаких жалоб. Не делайте наивный вид, вам уж это не идет! – сказала она, измеряя взмахом ресниц Кузнецова, насмешливо улыбаясь. – А ваш любимый лейтенант Дроздовский после своих сомнительных процедур, думаю, окажется не на передовой, а в госпитале!

– Во-первых, он не мой любимый, – ответил Кузнецов. – Во-вторых...

– Благодарю, Кузнецов, за откровенность. А во-вторых? Что вы думаете обо мне, во-вторых?

Лейтенант Дроздовский, одетый уже, стягивая шинель ремнем с мотающейся новенькой кобурой, легко спрыгнул на снег, взглянул на Кузнецова, на Зою, медленно договорил:

– Хотите сказать, санитарструктор, что я похож на самострела?

Зоя откинула голову с вызовом:

– Может быть, и так... По крайней мере, возможность не исключена.

– Вот что, – решительно объявил Дроздовский, – вы не классный руководитель, а я не школьник. Прошу вас отправиться в санитарный вагон. Ясно?... Лейтенант Кузнецов, остаюсь за меня. Я – к командиру дивизиона.

Дроздовский с непроницаемым лицом вскинул руку к виску и гибкой, упругой походкой прекрасного строевика, как корсетом затянутый ремнем и новой португеей, зашагал мимо оживленно спящих по рельсам солдат. Перед ним расступались, замолкали от одного вида его, а он шел, словно раздвигая солдат взглядом, в то же время отвечая на приветствия коротким и небрежным взмахом руки. Солнце в радужных морозных кольцах стояло над сияющей белизной степи. Вокруг колодца по-прежнему собиралась и сейчас же рассеивалась густая толпа; тут набирали воду и умывались, сняв шапки, охая, фыркая, ежась; потом бежали к призывно дымившим в середине эшелона кухням, на всякий случай огляывая группу дивизионных командиров возле заиндевелого пассажирского вагона.

К этой группе шел Дроздовский.

И Кузнецов видел, как с непонятым беспомощным выражением Зоя следила за ним вопросительными, с легкой косинкой глазами. Он предложил:

– Может, хотите позавтракать с нами?
– Что? – спросила она невнимательно.
– Вместе с нами. Вы ведь не завтракали еще, наверное.
– Товарищ лейтенант, все стынет! Ждем вас! – крикнул Нечаев из двери вагона. – Супец-пюре гороховый, – добавил он, черпая ложкой из котелка и облизывая усики. – Не подавишься – жив будешь!

За его спиной шумели солдаты, разбирали с разостланной шинели свои порции, иные с довольным смешком, иные ворчливо рассаживаясь на нарах, погружая ложки в котелки, впиваясь зубами в черные, промерзшие ломти хлеба. И теперь уж никто не обращал внимания на Зою.

– Чибисов! – позвал Кузнецов. – А ну-ка мой котелок санинструктору!
– Сестренка!.. Чего ж вы? – певуче отозвался из вагона Чибисов. – Кумпания у нас, можно сказать, веселая.

– Да... хорошо, – рассеянно сказала она. – Может быть... Конечно, лейтенант Кузнецов. Я не завтракала. Но... мне ваш котелок? А вы?

– Я потом. Голодный не останусь, – ответил Кузнецов.

Торопливо прожевывая, Чибисов подошел к дверям, чересчур охотно выставил из поднятого воротника заросшее личико; как в детской игре, закивал Зое с приятным участием, худой, маленький, в куцей, нелепо сидевшей на нем широкой шинели.

– Залезайте, сестренка. А чего ж!..

– Я немного поем из вашего котелка, – сказала Зоя Кузнецову. – Только вместе с вами. Иначе не буду...

Солдаты завтракали с сопением, криканьем; и после первых ложек теплого супа, после первых глотков кипятка опять стали поглядывать на Зою любопытно. Расстегнув ворот нового полушубка так, что видно было белое горло, она осторожно ела из котелка Кузнецова, поставив котелок на колени, опустив глаза под взглядами, обращенными на нее.

Кузнецов ел с ней вместе, старался не смотреть, как она опрятно подносила ложку к губам, как ее горло двигалось при глотании; опущенные ресницы были влажны, в растаявшем инее, слиплись, чернели, прикрывая блеск глаз, выдававших ее волнение. Ей было жарко возле раскаленной печи. Она сняла шапку, каштановые волосы рассыпались по белому меху воротника, и без шапки вдруг выявилась незащищенно жалкой, скуластенькой, большеротой, с напряженно детским, даже робким лицом, странно выделявшимся среди распаренных, побагровевших от еды лиц артиллеристов, и впервые заметил Кузнецов: она была некрасива. Он никогда раньше не видел ее без шапки.

– «В парке Чаир распускаются ро-озы, в парке Чаир наступает весна...»

Сержант Нечаев, расставив ноги, стоял в проходе, тихонько напевал, оглядывая Зою с ласковой усмешкой, а Чибисов особенно услужливо налил полную кружку чаю и протянул ей. Она взяла горячую кружку кончиками пальцев, смущенно сказала:

– Спасибо, Чибисов. – Подняла влажно светящиеся глаза на Нечаева. – Скажите, сержант, что это за парк и розы? Не понимаю, почему вы все время о них поете?

Солдаты зашевелились, поощрительно подбадривая Нечаева:

– Давай-давай, сержант, вопрос есть. Откуда такие песенки?

– Владивосток, – мечтательно ответил Нечаев. – Увольнительная на берег, танцплощадка, и – «В парке Чаир...». Три года прослужил под это танго. Убиться можно, Зоя, какие были девушки во Владивостоке – королевы, балерины! Всю жизнь буду помнить!

Он поправил морскую пряжку, сделал руками жест, обозначая объятие в танце, сделал шаг, вильнул бедрами, напевая:

– «В парке Чаир наступает весна... Снятся твои золотистые косы...» Трам-па-па-пи-па-пи...

Зоя напряженно засмеялась.

– Золотистые косы... Розы. Довольно пошлые слова, сержант... Королевы и балерины. А разве вы когда-нибудь видели королев?

– В вашем лице, честное слово. У вас фигурка королевы, – смело сказал Нечаев и подмигнул солдатам.

«Зачем он смеется над ней? – подумал Кузнецов. – Почему я раньше не замечал, что она некрасива?»

– Если б не война, – ох, Зоя, вы меня недооцениваете, – украл бы я вас темной ночью, увез бы на такси куда-нибудь, сидел бы в каком-нибудь загородном ресторане у ваших ног с бутылкой шампанского, как перед королевой... И тогда – чихать на белый свет! Согласились бы, а?

– На такси? В ресторан? Это романтично, – сказала Зоя, переждав смех солдат. – Никогда не испытывала.

– Со мной всё испытали бы.

Сержант Нечаев сказал это, обволакивая Зою карими глазами, и Кузнецов, почувствовав обнаженную скользкость в его словах, прервал строго:

– Хватит, Нечаев, чепуху молоть! Наговорили с три короба! При чем здесь ресторан, черт возьми! Какое это имеет отношение!.. Зоя, пейте, пожалуйста, чай.

– Смешные вы, – сказала Зоя, и будто отражение боли появилось в тонкой морщинке на ее белом лбу.

Она все держала кончиками пальцев горячую кружку перед губами, но не отпивала, как прежде, маленькими глотками чай; и эта скорбная морщинка, казавшаяся случайной на белой коже, не распрямлялась, не разглаживалась на ее лбу. Зоя поставила кружку на печь и спросила Кузнецова с нарочитой дерзостью:

– Вы что на меня так смотрите? Что вы ищете на моем лице? Сажу от печки? Или тоже, как Нечаев, вспомнили каких-то там королев?

– О королевах я читал только в детских сказках, – ответил Кузнецов и нахмурился, чтобы скрыть неловкость.

– Смешные вы все, – повторила она.

– А сколько вам лет, Зоя, восемнадцать? – угадываяще поинтересовался Нечаев. – То есть, как говорят на флоте, сошли со стапелей в двадцать четвертом? Я на четыре года старше вас, Зочка. Существенная разница.

– Не угадали, – улыбаясь, сказала она. – Мне тридцать лет, товарищ стапель. Тридцать лет и три месяца.

Сержант Нечаев, изобразив крайнее удивление на смуглом лице, произнес тоном игривого намека:

– Неужели так хотите, чтоб было тридцать? Тогда сколько лет вашей маме? Она похожа на вас? Разрешите ее адресок. – Тонкие усики поднялись в улыбке, разъехались над белыми зубами. – Буду вести фронтową переписку. Обменяемся фото.

Зоя брезгливо обвела взглядом поджарую фигуру Нечаева, сказала с дрожью в голосе:

– Как вас напичкали пошлостью танцплощадки! Адрес? Пожалуйста. Город Перемышль, второе городское кладбище. Запишите или запомните? После сорок первого года у меня нет родителей, – ожесточенно договорила она. – Но знайте, Нечаев, у меня есть муж... Это правда, миленькие, правда! У меня есть муж...

Стало тихо. Солдаты, слушавшие разговор без сочувственного поощрения этой шалой, затеянной Нечаевым игре, перестали есть – все разом повернулись к ней. Сержант Нечаев, с ревливой недоверчивостью глядяваясь в лицо Зои, сидевшей с опущенными глазами, спросил:

– Кто он, ваш муж, если не секрет? Командир полка, возможно? Или слухи ходят, что вам нравится наш лейтенант Дроздовский?

«Это, конечно, неправда, – тоже без доверия к словам ее подумал Кузнецов. – Она это сейчас выдумала. У нее нет мужа. И не может быть».

– Ну, хватит, Нечаев! – сказал Кузнецов. – Перестаньте задавать вопросы! Вы как испорченная патефонная пластинка. Не замечаете?

И он встал, оглянул вагон, пирамиду с оружием, ручной пулемет ДП внизу пирамиды; заметив на нарах нетронутый котелок с супом, порцию хлеба, беленькую кучку сахара на газете, спросил:

– А старший сержант Уханов где?

– У старшины, товарищ лейтенант, – ответил с верхних нар, сидя на поджатых ногах, молоденький казах Касымов. – Сказал: чашка бери, хлеб бери, сам придет...

В короткой телогрейке, в ватных брюках, Касымов бесшумно спрыгнул с нар; криво расставив ноги в валенках, замерцал узкими щелками глаз.

– Поискать можно, товарищ лейтенант?

– Не надо. Завтракайте, Касымов.

Чибисов же, вздохнув, заговорил ободряюще, певуче:

– Муж-то ваш, сестренка, сердитый или как? Сурьезный, верно, человек?

– Спасибо за гостеприимство, первая батарея! – Зоя тряхнула волосами и улыбнулась, разомкнув над переносицей брови, надела свою новую с заячьим мехом шапку, заправила под шапку волосы. – Вот, кажется, и паровоз подают. Слышите?

– Последний прогон до передовой – и здравсте, фрицы, я ваша тетя! – крикнул кто-то с верхних нар и нехорошо засмеялся.

– Зюечка, не уходите от нас, ей-богу! – сказал Нечаев. – Оставайтесь в нашем вагоне. Для чего вам муж? Зачем он вам на войне?

– Должно, два паровоза подают, – сообщил с нар прокуренный голос. – Сейчас нас быстро. Последняя остановка. И – Сталинград.

– А может, не последняя? Может, здесь?..

– Что ж, скорей бы! – сказал Кузнецов.

– Кто сказал – паровоз? Очумели? – громко выговорил наводчик Евстигнеев, сержант в годах, с обстоятельной деловитостью пивший чай из кружки, и рывком вскочил, выглянул из двери вагона.

– Что там, Евстигнеев? – окликнул Кузнецов. – Команда?

И, повернувшись, увидел его задранную большую голову, в тревоге рыскающие по небу глаза, но не услышал ответа. С двух концов эшелона забили зенитки.

– Кажись, братцы, дождались! – крикнул кто-то, прыгая с нар. – Прилетели!

– Вот тебе и паровоз! С бомбами...

В лихорадочный лай зениток сейчас же врезался приближающийся тонкий звон, затем спаренный бой пулеметов пропорол воздух над эшелоном – и в вагон из степи ворвался крик предупреждающих голосов: «Воздух! «Мессера»!» Наводчик Евстигнеев, швырнув на нары кружку, бросился к пирамиде с оружием, на ходу толкнув Зою к двери, а вокруг солдаты в суматохе прыгали с нар, хватая карабины из пирамиды. На короткий миг в голове Кузнецова скользнула мысль: «Только спокойно. Я выйду последним!» И он скомандовал:

– Все из вагона!

Две эшелонные зенитки забили так оглушительно близко, что частые удары их толчками звона отдавались в ушах. Стремительно наступающий звук моторов, клекот пулеметных очередей дробным цоканьем рассыпался над головой, прошел по крыше вагона.

Бросаясь к раскрытой двери, Кузнецов увидел прыгающих на снег солдат с карабинами, разбегающихся по солнечно-белой степи. И, испытывая холодную легкость в животе,

выпрыгнул из вагона сам, в несколько прыжков достиг огромного, отливающего синью по скату сугроба, с разбега упал с кем-то рядом, затылком чувствуя пронзительно сверлящий воздух свист. С трудом преодолевая эту гнущую к земле тяжесть в затылке, он все-таки поднял голову.

В огромном холодно-голубом сиянии зимнего неба, алюминиево сверкая тонкими плоскостями, вспыхивая на солнце плексигласом колпаков, пикировала на эшелон тройка «мессершмиттов».

Обесцвеченные солнцем трассы зенитных снарядов непрерывно вылетали им навстречу с конца и спереди эшелона, рассыпались пунктиром, а вытянутые осиные тела истребителей падали все отвеснее, все круче, неслись вниз, дрожа острым пламенем пулеметов, скорострельных пушек. Густая радуга трасс неслась сверху сбоку вагонов, от которых бежали люди.

Над самыми крышами вагонов первый истребитель выровнялся и пронесся горизонтально вдоль эшелона, остальные два мелькнули за ним.



Впереди паровоза, кольхнув воздух, вырос бомбовый разрыв, взвились смерчи снега – и, круто набрав высоту, сделав разворот в сторону солнца, истребители, снижаясь, вновь понеслись к эшелону.

«Они нас всех хорошо видят, – возникло у Кузнецова. – Надо что-то делать!»

– Огонь!.. Огонь из карабинов по самолетам! – Он встал на колени, подав команду, и тотчас по другую сторону сугроба увидел поднятую голову Зои – брови ее удивленно скошены, замершие глаза расширены. Крикнул ей: – Зоя, в степь! Отползайте дальше от вагонов!

Но она, молча кусая губы, смотрела на эшелон. Туда прыжками бежал лейтенант Дроздовский в своей, как облитой по телу, узкой шинели и что-то кричал – понять было нельзя. Дроздовский вскочил в раскрытые двери вагона и выпрыгнул оттуда с ручным пулеметом в руках. Потом, отбежав в степь, упал вблизи Кузнецова, с бешеной спешкой втискивая сошки ДП в гребень сугроба. И, щелкнув в зажимы диск, полоснул очередью по истребителям, которые пикировали из сияющей синевы неба, пульсируя рваными вспышками.



Прямой огненный коридор трасс, нацеленных к земле, стремительно приближался. В голову Кузнецова ударило оглушительным треском очередей, пронизывающим звоном мотора, радужно, как в калейдоскопе, засверкало в глаза. В лицо брызнуло ледяной пылью, сбитой пулеметными очередями с сугроба. И в ревущей черноте, на секунду закрывшей небо, кувыркались, прыгали в снегу стреляные крупнокалиберные гильзы. Но непостижимее всего было то, что Кузнецов успел заметить в несущемся вниз плексигласовом колпаке «мессершмитта» яйцевидную, обтянутую шлемом голову летчика.

Обдав железным звоном моторов, самолеты вышли из пике в нескольких метрах от земли, выровнялись, быстро набирая высоту над степью.

– Володя!.. Не вставай! Подожди!.. – услышал он вскрик и тут же увидел, как Дроздовский отбросил пустой диск, пытаясь встать, а Зоя, цепко обняв, прижималась грудью к нему, не отпускала его. – Володя! Прошу тебя!..

– Не видишь – диск кончился! – кричал Дроздовский, перекосив лицо, отталкивая Зою. – Не мешай! Не мешай, говорят!

Он расцепил ее руки, побежал к вагону, а она, растерянная, лежала в снегу, и тогда Кузнецов подполз к ней вплотную.

– Что с пулеметом?

Она взглянула – выражение ее лица мгновенно изменилось, стало вызывающим, неприятным.

– А, лейтенант Кузнецов? Что же вы по самолетам не стреляете? Трусите? Один Дроздовский?..

– Из чего, из пистолета стрелять?.. Так считаете?

Она не ответила ему.

Истребители пикировали впереди эшелона, крутились над паровозом, и густо задымилась два первых пультмановских вагона. Лоскутья пламени выскальзывали из раскрытых дверей, ползли по крыше. И этот возникший пожар, занявшийся пламенем крыши, упорное пикирование «мессершмиттов» вдруг вызвали у Кузнецова чувство тошнотного бессилия, и показалось ему, что эти три самолета не улетят до тех пор, пока не разгромят весь эшелон.

«Нет, сейчас у них кончатся патроны, – стал внушать себе Кузнецов. – Сейчас кончатся...»

Но истребители сделали разворот и снова на бредущем пошли вдоль эшелона.

– Санитар! Сестра-а! – донесся крик со стороны горящих вагонов, и фигурки хаотично заметались там, волоча кого-то по снегу.

– Меня, – сказала Зоя и вскочила, оглядываясь на раскрытые двери вагона, на воткнувший в сугроб пулемет. – Кузнецов, где же Дроздовский? Я иду. Скажите ему, что я туда...

Он не имел права ее остановить, а она, придерживая сумку, быстрыми шагами пошла, потом побежала по степи в направлении пожара, исчезла за сугробами.

– Кузнецов!.. Ты?

Лейтенант Дроздовский прыжками подбежал от вагона, упал возле пулемета, вставил в зажимы новый диск. Тонкое бледное его лицо было зло заострено.

– Что делают, сволочи! Где Зоя?

– Кого-то ранило впереди, – ответил Кузнецов, плотнее вжимая пулеметные сошки в твердый наст снега. – Опять сюда идут...

– Подлюки... Где Зоя, я спрашиваю! – крикнул Дроздовский, плечом припадая к пулемету, и, по мере того как один за другим пикировали «мессершмитты», глаза его суживались, зрачки черными точками леденели в прозрачной синеве.

Зенитное орудие в конце эшелона смолкло.

Дроздовский ударил длинной очередь по засверкавшему над головами вытянутому металлическому корпусу первого истребителя и не отпускал палец со спускового крючка до той секунды, пока слепящим лезвием бритвы не мелькнул фюзеляж последнего самолета.

– Попал ведь! – выкрикнул Дроздовский сдавленно. – Видел, Кузнецов? Попал ведь я!.. Не мог я не попасть!..

А истребители уже неслись над степью, пропарывая воздух крупнокалиберными пулеметами, и огненные пики трасс будто поддевали остриями распростертые на снегу тела людей, переворачивали их в винтообразных белых завертях. Несколько солдат из соседних батарей, не выдержав расстрела с воздуха, вскочили, заметались под истребителями, бросаясь в разные стороны. Потом один упал, пополз и замер, вытянув вперед руки. Другой бежал зигзагообразно, дико оглядываясь то вправо, то влево, а трассы с пикирующего «мессершмитта» настигали его наискосок сверху и раскаленной проволокой прошли сквозь него, солдат покотился по снегу, крестообразно взмахивая руками, и тоже замер; ватник дымился на нем.

– Глупо! Глупо! Перед самым фронтом!.. – кричал Дроздовский, вырывая из зажимов пустой диск.

Кузнецов, встав на колени, скомандовал в сторону ползающих по степи солдат:

– Не бегать! Никому не бегать, лежать!..

И тут же услышал свою команду, в полную силу ворвавшуюся в оглушительную тишину. Не стучали пулеметы. Не давил на голову рев входящих в пике самолетов. Он понял – все кончилось...

Вонзаясь в синее морозное небо, истребители с тонким свистом уходили на юго-запад, а из-за сугробов неуверенно вставали солдаты, отряхивая снег с шинелей, глядя на пылающие вагоны, медленно шли к эшелону, счищали снег с оружия. Сержант Нечаев со сбитой набок морской пряжкой отряхивал шапку о колено (глянцевито-черные волосы растрепались), смеялся насильственным смешком, скашивая с красными прожилками белки на лейтенанта Давлатяна, командира второго взвода, угловатого, щуплого, большеглазого мальчика. Давлатян сконфуженно улыбался, но его брови неумело пытались хмуриться.

– И вы со снегом целовались, а, товарищ лейтенант? – ненатурально бодро говорил Нечаев. – Ныряли в сугроб, как японский пловец! Дали они нам прикурить! Побрили они нас, братишки. Покопали мы мордами степь! – И, завидев стоящего с пулеметом лейтенанта Дроздовского, ядовито добавил: – Поползали, ха-ха!

– Чего в-вы так... никак, хохочете, Нечаев? Я н-не понимаю, – чуть запинаясь, проговорил Давлатян. – Что такое с вами?

– А вы с жизнью, никак, простились, товарищ лейтенант? – залился булькающим смешком Нечаев. – Конец, думали?

Командир взвода управления старшина Голованов, гигантского роста, нелюдимого вида парень с автоматом на покатоной груди, шедший за Нечаевым, мрачно одернул его:

– Говоришь несуразно, морячок.

Потом Кузнецов увидел робко и разбито ковыляющего Чибисова и рядом виноватого Касымова, обтиравшего круглые потные скулы рукавом шинели, замкнутое, смятое стыдом лицо пожилого наводчика Евстигнеева, который весь был вывален в снег. И в душе Кузнецова подымалось что-то душное, горькое, похожее на злость за унижительные минуты всеобщей беспомощности, за то, что сейчас их всех заставили пережить отвратительный страх смерти.

– Проверить наличие людей! – донеслось издали. – Батарейам произвести поверку!

И Дроздовский подал команду:

– Командиры взводов, построить расчеты!

– Взвод управления, становись! – рокотнул старшина Голованов.

– Первый взвод, стано-вись! – подхватил Кузнецов.

– В-второй взво-од... – по-училищному запел лейтенант Давлатян. – Строиться-а!..

Солдаты, не остывшие после опасности, возбужденные, отряхиваясь, подтягивая сползшие ремни, занимали свои места без обычных разговоров: все глядели в южную сторону неба, а там было уже неправдоподобно светло и чисто.

Едва взвод был построен, Кузнецов, обежав глазами орудийные расчеты, наткнулся взглядом на наводчика Нечаева, нервно мявшегоса на правом фланге, где должен был стоять командир первого орудия. Старшего сержанта Уханова в строю не было.

– Где Уханов? – обеспокоенно спросил Кузнецов. – Во время налета вы его видели, Нечаев?

– Сам кумекаю, товарищ лейтенант, где бы ему быть, – шепотом ответил Нечаев. – На завтрак к старшине ходил. Может, там еще отирается...

– До сих пор у старшины? – усомнился Кузнецов и прошел перед взводом. – Кто видел Уханова во время налета? Кто-нибудь видел?

Солдаты, поеживаясь на холоде, молчаливо переглядывались.

– Товарищ лейтенант, – опять шепотом позвал Нечаев, делая страдальческое лицо, – посмотрите– ка! Может, там он...

Над огненным эшелонном, над снегами, над утонувшим в сугробах зданьицем разьезда покойно, как и до налета, сыпалась под солнцем мельчайшая изморозь. А впереди, около уцелевших вагонов, продолжалось суматошное движение, – везде выстраивались батареи, и мимо них от горящих пульманов двое солдат несли на шинели кого-то – раненого или убитого.

– Нет, – сказал Кузнецов. – Это не Уханов, он в ватнике.

– Первый взвод! – раздался чеканный голос Дроздовского. – Лейтенант Кузнецов! Почему не докладываете?

Кузнецов соображал, как он должен объяснить отсутствие Уханова, сделал пять шагов к Дроздовскому, но не успел доложить – тот произнес требовательно:

– Где командир орудия Уханов? Не вижу его в строю! Я вас спрашиваю, командир первого взвода!

– Сначала надо выяснить... жив ли он, – ответил Кузнецов и приблизился к Дроздовскому, ожидавшему его доклада с готовностью к действию. «У него такое лицо, будто не намерен верить мне», – подумал Кузнецов и отчего-то вспомнил его решительность во время налета, его бледное, заостренное лицо, когда он отталкивал Зою, выпустив по «мессершмитту» первый пулеметный диск.

– Лейтенант Кузнецов, вы куда-нибудь отпускали Уханова? – произнес Дроздовский. – Если бы он был ранен, санинструктор Елагина давно сообщила бы. Я так думаю!

– А я думаю, что Уханов задержался у старшины, – возразил Кузнецов. – Больше ему негде быть.

– Немедленно пошлите кого-нибудь в хоззвод! Что он на кухне может делать до сих пор? Кашу, что ли, варят с поваром вместе?

– Я схожу сам.

И Кузнецов, повернувшись, зашагал по сугробам к дивизионным кухням.

Когда он подошел к хоззводу, на платформе еще не погасли кухонные топки, а внизу, изображая внимание, стояли ездовые, писаря и повар. Старшина батареи Скорик, в длинной комсоставской шинели, узколицый, с хищными, близко посаженными к крючковатому носу зелеными глазами, по-кошачьи мягко прохаживался перед строем, заложив руки за спину, то и дело поглядывая на спальный вагон, у которого тесно сгрудились старшие командиры, военные железнодорожники, разговаривая с кем-то из начальства, недавно прибывшего к эшелону на длинной трофейной машине.

– Смирно! – затылком почуяв подошедшего Кузнецова, выкрикнул Скорик и по-балетному кругообразно скользнул на одной точке, артистическим жестом выкинул кулак к виску, распрямил пальцы. – Товарищ лейтенант, хозяйственный взвод...

– Вольно! – Кузнецов хмуро взглянул на Скорика, который голосом своим в меру выявлял соответствующее невысокому лейтенантскому званию подчинение. – Старший сержант Уханов у вас?

– Почему, товарищ лейтенант? – насторожился Скорик. – Как так он может быть здесь? Я не позволяю... А в чем дело, товарищ лейтенант? Никак, исчез? Скажи пож-жалуйста! Где ж он, голова два уха?

– Уханов был у вас в завтрак? – строго переспросил Кузнецов. – Вы его видели?

Узкое многоопытное лицо старшины выразило работу мысли, предполагаемую степень ответственности и личной причастности к случившемуся в батарее.

– Так, товарищ лейтенант, – заговорил Скорик с солидным достоинством. – Прекрасно помню. Командир орудия Уханов получал для расчета завтрак. Ругался с поваром неприлично. По причине порций. Лично вынужден был сделать ему замечание. Разболтанный, как в гражданке. Очень правильно, товарищ лейтенант, что звания ему не присвоили. Разгильдяй. Не обтесался... Может, в хутор мотанул. Вон за станцией в балке хутор! – И тотчас, солидно приосаниваясь, зашептал: – Товарищ лейтенант, генералы, никак, сюда... Батареи обходят? Вы докладываете, по уставу уж...

От спального вагона мимо построенных у эшелона батарей двигалась довольно многочисленная группа, и Кузнецов издали узнал командира дивизии полковника Деева, высокого роста, в бурках, грудь перекрещена португепями. Рядом с ним, опираясь на палочку, шел сухощавый, слегка неровный в походке незнакомый генерал – его черный полушубок (такого никто не носил в дивизии) выделялся меж других полушубков и шинелей.

Это был командующий армией генерал-лейтенант Бессонов.

Обгоняя полковника Деева, он шагал, чуть хромя; останавливался возле каждой батареи, выслушивал доклад, затем, переложив тонкую бамбуковую палочку из правой руки в левую, подносил ладонь к виску, продолжал обход. В тот момент, когда командующий армией и сопровождавшие его командиры задержались близ соседнего вагона, Кузнецов услышал высокий и резкий голос генерала:

– Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать вам одно: четыре месяца они осаждали Сталинград, но не взяли его. Теперь мы начали наступление. Враг должен почувствовать нашу силу и ненависть полной мерой. Запомните и другое: немцы понимают, что здесь, под Сталинградом, мы перед всем миром защищаем свободу и честь России. Не стану лгать, не обещаю вам легкие бои – немцы будут драться до последнего. Поэтому я требую от вас мужества и сознания своей силы!

Генерал выговорил последние слова возбужденным голосом, какой не мог не возбудить других; и Кузнецов колюче ощутил убеждающую власть этого худого, в черном полушубке,

человека с болезненным, некрасивым лицом, который, пройдя соседнюю батарею, приблизился к хозвзводу. И, еще не зная, что будет докладывать генералу, оказавшись здесь, около кухни, он подал команду.

– Смир-рно! Равнение направо! Товарищ генерал, хозвзвод первой батареи второго дивизиона...

Он не закончил доклад; вонзив палочку в снег, генерал-лейтенант остановился против замершего хозвзвода, вопросительно перевел жесткие глаза на командира дивизии Деева. Тот с высоты своего роста ответил ему успокаивающим кивком, улыбнулся яркими губами, сказав крепким молодым баритоном:

– Потерь здесь, товарищ генерал, нет. Все целы. Так, старшина?

– Нимая ни одного хлопца, товарищ полковник! – преданно и бодро выкрикнул Скорик, непонятно почему вставляя в речь украинские слова. – Старшина батареи Скорик!

И, по-бравому развернув грудь, застыл с тем же выражением полного послушания.

Бессонов стоял в четырех шагах от Кузнецова, были видны заиндевшие от дыхания уголки каракулевого воротника; худощавые, гладко выбритые сизые щеки, глубокие складки властно сжатого рта; из-под приспущенных век что-то знающий, усталый взор много пережившего пятидесятилетнего человека колюче ощупывал нескладные фигуры ездových, каменную фигуру старшины. Старшина Скорик, круто выпятив грудь, сдвинув ноги, подался вперед.

– Зачем так по-фельдфебельски? – произнес генерал скрипучим голосом – Вольно.

Бессонов выпустил из поля зрения старшину, его хозвзвод и утомленно обратился к Кузнецову:

– А вы, товарищ лейтенант, какое имеете отношение к хозяйственному взводу?

Кузнецов вытянулся молча.

– Вас застал здесь налет? – как бы подсказывая, проговорил полковник Деев, но соучастливым был его голос, брови же полковника раздраженно соединились на переносице. – Почему молчите? Отвечайте. Вас спрашивают, лейтенант.

Кузнецов почувствовал нетерпеливо-торопящее ожидание полковника Деева, заметил, как старшина Скорик и его разношерстный хозвзвод одновременно повернули к нему головы, увидел, как переминались сопровождающие командиры, и выговорил наконец:

– Нет, товарищ генерал...

Полковник Деев прижмурил на Кузнецова рыжие ресницы.

– Что «нет», лейтенант?

– Нет, – повторил Кузнецов. – Меня здесь не застал налет. Я ищу своего командира орудия. Его не оказалось на поверке. Но я думаю...

– Никаких командиров орудий в хозвзводе нет, товарищ генерал! – выкрикнул старшина, захлебнув в грудь воздух и выкатив глаза на Бессонова.

Но Бессонов не обратил на него внимания, спросил:

– Вы, лейтенант, прямо из училища? Или воевали?

– Я воевал... Три месяца в сорок первом, – проговорил Кузнецов не очень твердо. – А теперь окончил артиллерийское училище...

– Училище, – повторил Бессонов. – Значит, вы ищите своего командира орудия? Смотрели среди раненых?

– В батарее нет ни раненых, ни убитых, – ответил Кузнецов, чувствуя, что вопрос генерала об училище вызван, конечно, впечатлением о его беспомощности и неопытности.

– А в тылу, как вы понимаете, лейтенант, не бывает пропавших без вести, – поправил Бессонов сухо. – В тылу пропавшие без вести имеют одно название – дезертиры. Надеюсь, это не тот случай, полковник Деев?

Командир дивизии несколько подождал с ответом. Стало тихо. Отдаленно донеслись неразборчивые голоса, свистящее шипение паровоза. Там залязгали, загремели буфера: от состава отцепляли два пылающих пурмана.

– Не слышу ответа.

Полковник Деев заговорил с преувеличенной уверенностью:

– Командир артполка – человек новый. Но подобных случаев не было, товарищ генерал. И, надеюсь, не будет. Убежден, товарищ генерал.

У Бессонова чуть дернулся край жесткого рта.

– Что ж... Спасибо за уверенность, полковник.

Хозвзвод стоял, так же не шевелясь, старшина

Скорик, окаменев впереди строя, делал бровями страшные подсказывающие знаки Кузнецову, но тот не замечал. Он чувствовал сдержанное недовольство генерала при разговоре с командиром дивизии, беспокойное внимание штабных командиров и, с трудом преодолевая скованность, спросил:

– Разрешите идти... товарищ генерал?

Бессонов молчал, недвижно всматриваясь в бледное лицо Кузнецова; озябшие штабные командиры украдкой терли уши, переступали с ноги на ногу. Они не вполне понимали, почему командующий армией так ненужно долго задерживается здесь, в каком-то хозвзводе. Никто из них, ни полковник Деев, ни Кузнецов, не знал, о чем думал сейчас Бессонов, а он, как это бывало часто в последнее время, подумал в ту минуту о своем восемнадцатилетнем сыне, пропавшем без вести в июне на Волховском фронте. Пропавшем по косвенной его вине, представлялось ему, хотя умом понимал, что на войне порой ничто не может спасти ни от пули, ни от судьбы.

– Идите, лейтенант, – проговорил тяжелым голосом Бессонов, видя неловкие усилия лейтенанта побороть растерянность. – Идите.

И он с сумрачным видом поднес руку к папахе и, окруженный группой штабных командиров, зашагал вдоль эшелона, намеренно нажимая на болевшую ногу. Она замерзала.

Боль обострялась, как только замерзала нога, а Бессонов знал, что ощущение боли в заде- том осколком нерве останется надолго, к ней нужно привыкнуть. Но то, что ему постоянно приходилось испытывать мешающую боль в голени, отчего немели пальцы на правой ступне и нередко появлялось нечто похожее на страх перед бессмысленным лежанием в госпитале, куда опасался попасть вторично, если откроется рана, и то, что после назначения в армию он все время думал о судьбе сына, рождало в нем тревожные толчки душевной неполновесности, непривычной зыбкости, чего терпеть не мог ни в себе, ни в других.

Неожиданности в жизни случались с ним не так часто. Однако назначение на новую должность – командующего армией – свалилось как снег на голову. Он принял армию новенькую, свежесформированную в глубоком тылу, уже в дни погрузки ее в вагоны (ежесуточно отправлялось на фронт до восемнадцати эшелонов), и сегодняшнее знакомство с одной из ее дивизий, разгружавшейся на нескольких станциях северо-западнее Сталинграда, не совсем удовлетворило его. Это неудовлетворение было вызвано непредвиденным налетом «мессершмиттов» и необеспечением прикрытия с воздуха района выгрузки. Выслушав же оправдательные объяснения представителя ВОСО: «Десять минут назад улетели наши истребители, товарищ командующий», – он взорвался: «Что значит – улетели? Наши улетели, а немцы вовремя прилетели! Грош цена такому обеспечению!» И, сказав так, теперь жалел о своей невоздержанности, ибо не комендант станции отвечал за прикрытия с воздуха; этот подполковник ВОСО просто первым попался ему на глаза.

Уже отойдя вместе со штабными командирами от хозвзвода, Бессонов услышал за спиной негромкий голос задержавшегося у строя Деева:

– Что вы за чертовщину наговорили, лейтенант? А ну – пулей искать! Поняли? Полчаса... Даю пол часа вам!

Но Бессонов сделал вид, что ничего не услышал, когда полковник Деев догнал его возле платформы с орудиями, говоря как ни в чем не бывало:

– Я знаю эту батарею, товарищ командующий, полностью уверен в ней. Помню ее по учениям на формировке. Правда, командиры взводов очень уж молоденькие. Не оперились пока...

– В чем оправдываетесь, полковник? – перебил Бессонов. – Конкретней прошу. Яснее.

– Простите, товарищ генерал, я не хотел...

– Что не хотели? Именно? – с усталым выражением заговорил Бессонов. – Неужели вы меня тоже за мальчика принимаете? Так вот, звенеть передо мной шпорами нет смысла. Абсолютно глух к этому.

– Товарищ командующий...

– Что касается вашей дивизии, полковник, составлю о ней полное представление только после первого боя. Это запомните. Если обиделись, переживу как-нибудь.

Полковник Деев, пожав плечами, ответил обескураженно:

– Я не имею права обижаться на вас, товарищ командующий.

– Имеете! Но ясно было бы – за что!

И, вонзая палочку в снег, Бессонов повел глазами по нагнавшим их и притихшим штабным командирам, которых он тоже еще недостаточно знал. Они, потупясь, молчали, не участвуя в разговоре.

– С-смирно! Равнение-е направо! – рванулась громкая команда спереди от темнеющего против вагонов строя.

– Третья гаубичная батарея ста двадцати двух, товарищ генерал, – сказал полковник Деев.

– Посмотрим гаубичную, – вскользь произнес Бессонов.

Глава третья

В каменном зданьице разъезда, куда на всякий случай Кузнецов зашел, Уханова не было. Два низких зала одичало пусты, холодны, деревянные лавки грязно обшарпаны, на полу темное месиво нанесенного сюда ногами снега; железная печь с трубой, выведенной в окно, заделанное фанерой, не топилась, и пахло удушливой кислотой шинелей: тут побывали солдаты со всех проходящих эшелонов.

Когда Кузнецов вышел на свежий воздух, на морозное солнце, эшелон по-прежнему стоял посреди сверкающей до горизонта глади снегов, и там наискось тянулся в безветренном небе черный дымовой конус: догорали вагоны, загнанные в тупик. Паровоз пронзительно звенел паром на путях перед опущенным семафором. Вдоль вагонов неподвижными рядами проступали построения батарей. В полукилометре за станцией подымались над степью прямые дымки невидимого в балке хутора.

«Где его искать? Неужели в этом проклятом хуторе, о котором сказал старшина?» – подумал Кузнецов и уже со злой отчаянностью побежал в ту сторону по санной дороге, по вылуженной полозьями колее.

Впереди, в балке, засияли, заискрились под солнцем крыши, зеркалами вспыхивали приваленные пышными сугробами низкие оконца – везде утренний покой, полная тишина, безлюдность. Похоже было, в теплых избах спали или не торопясь завтракали, будто и не было налета «мессершмиттов», – наверно, к этому привыкли в хуторе.

Вдыхая горьковатый дымок кизяка, напоминавший запах свежего хлеба, Кузнецов спустился в балку, зашагал по единственной протоптанной меж сугробов тропке с вмерзшим конским навозом, мимо обсахаренных инеем корявых ветел, мимо изб с резными наличниками и, не зная, в какую избу зайти, где искать, добравшись до конца улочки, в замешательстве остановился.

Все здесь, в этом хуторке, было безмятежно мирным, давно и прочно устоявшимся, подеревенски уютным. И может быть, оттого, что отсюда, из балки, не было видно ни эшелона, ни разъезда, внезапно появилось у Кузнецова чувство отъединенности от всех, кто оставался там, в вагонах: войны, чудилось, не было, а было это солнечное морозное утро, безмолвие, лиловые тени дымов над снежными крышами.

– Дяденька, а дяденька! Вы чего? – послышался писклявый голосок.

За плетнем маленькая, закутанная в тулуп фигурка, нагнувшись над облитым наледью срубом, опускала на жерди ведро в колодец.

– Есть тут где-нибудь боец? – спросил Кузнецов, подойдя к колодцу и произнося заранее приготовленную фразу. – Боец не проходил?

– Чего?

Из глубины воротника, из щелочки меха чернели, с любопытством выглядывали глаза. Это был мальчик лет десяти, голосок нежно пищал, его детские пальцы в цыпках перебирали обледенелую жердь колодезного журавля.

– Я спрашиваю, нет ли бойца у вас? – повторил Кузнецов. – Ищу товарища.

– Сейчас никого нету, – бойко ответил мальчик из меховых недр огромного тулупа, обвисшего на нем до пят. – А бойцов у нас много бывает. С эшелонов. Меняют. Ежели и у вас, дяденька, гимнастерка или куфайка, мамка враз выменяет. Иль мыло... Нету? А то мамка хлеба пекла...

– Нет, – ответил Кузнецов. – Я не менять. Я ищу товарища.

– А исподнее?

– Что?

– Исподнее для себя мамка хотела. Ежели теплое... Разговор был.

– Нет.

С поскрипыванием жерди мальчик вытащил ведро, полное тяжелой, как свинец, зимней колодезной воды; расплескивая воду, поставил на толстый от наростов льда край сруба, подхватил ведро, волоча полы тулупа по снегу, изогнувшись, понес к избе, сказал:

– Прощевайте пока. – И, красными пальцами отогнув бараний мех воротника, стрельнул черными глазами вбок. – Не этот ли товарищ ваш, дяденька! У Кайдалика был, у безногого.

– Что? У какого Кайдалика? – спросил Кузнецов и тут же увидел за плетнем крайней хаты старшего сержанта Уханова.

Уханов спускался по ступенькам крылечка к тропке, надевая шапку, лицо распарено, спокойно, сыто. Весь вид его говорил о том, что был он сейчас в уюте, в тепле и вот теперь на улицу прогуляться вышел.

– А, лейтенант, боевой привет! – крикнул Уханов с добродушной приветливостью и заулыбался. – Каким образом здесь? Не меня ли ищешь? А я в окошко глянул, смотрю – свой!

Он подошел косолапой развалкой деревенского парня, лузгая тыквенные зерна, сплевывая шелуху, затем полез в карман ватника, протянул Кузнецову пригоршню крупных желтоватых семечек, сказал миролюбиво:

– Поджаренные. Попробуй. Четыре кармана нагрузил. До Сталинграда хватит всем щелкать. – И, взглянув в осерженные глаза Кузнецова, спросил вполусерьез: – Ты чего? Давай говори, лейтенант: в чем суть? Семечки-то держи...

– Убери семечки! – проговорил, бледнея, Кузнецов. – Значит, сидел здесь в теплой хате и семечки грыз, когда «мессера» эшелон обстреливали? Кто разрешил тебе уйти из взвода? Знаешь, после этого кем тебя можно считать?

С лица Уханова смыло довольное выражение, лицо мгновенно утратило сытый вид деревенского парня, стало насмешливо-невозмутимым.

– Ах, вон оно что-о?.. Так знай, лейтенант, во время налета я был там... Ползал на карачках возле колодца. В деревню забрел, потому что железнодорожник с разъезда, который со мной рядом ползал, сказал, что эшелон пока постоит... Давай не будем выяснять права! – Уханов, усмехнувшись, разгрыз тыквенное семечко, выплюнул шелуху. – Если вопросов нет, согласен на все. Считай: поймал дезертира. Но упаси боже: подвести тебя не хотел, лейтенант!..

– А ну пошли к эшелону! И брось свои семечки знаешь куда? – обрезал Кузнецов.

– Пошли!

– Пошли так пошли. Не будем ссориться, лейтенант.

То, что он не сдержал себя при виде невозмутимого спокойствия Уханова, которому, должно быть, на все было наплевать, и то, что не мог понять этого спокойствия к тому, что не было безразлично ему, особенно злило Кузнецова, и, сбиваясь на неприятный самому тон, он договорил:

– Надо думать, в конце концов, черт подери! В батареях проверка личного состава, на следующей станции, наверно, выгружаться будем, а командира орудия нет!.. Как это приказываешь расценивать?..

– Если что, лейтенант, вину беру на себя: в деревне мыло на семечки менял. Ни хрена. Обойдется. Дальше фронта не пошлют, больше пули не дадут, – ответил Уханов и, шагая, на подъеме из балки поглядел назад – на блистающие верхи крыш, на леденцовые окна под опущенными ветлами, на синие тени дымов над сугробами, сказал: – Просто чудо деревушка! И девки до дьявола красивые – не то украинки, не то казачки. Одна вошла, брови стрелочки, глаза голубые, не ходит, а пишет... Что это, лейтенант, никак, наши «ястребки» появились? – добавил Уханов, задрав голову и сощуривая светлые нестеснительные глаза. – Нет, наверняка здесь выгружаться будем. Смотри ты, как охраняют!

Низкое зимнее солнце белым диском висело в степи над длинно растянутым на путях воинским эшелоном с отцепленным паровозом, над серыми построениями солдат. А высоко

над степью, над догорающими в тупике пульманами, купаясь в морозной синеве, то ввинчивалась в зенит неба, то падала на тонкие серебристые плоскости пара наших «ястребков», патрулируя эшелон.

– Бегом к вагону! – скомандовал Кузнецов.

Глава четвертая

- Бат-тарей-а! Выгружайсь! Орудия с платформы! Лошадей выводи!
- Повезло же нам, кореш: цельный артполк на машинах, а наша батарея на лошадях.
- Лошадку танк плохо видит. Понял мысль этого дела?
- Что, славяне, пешочком топать? Или фрицы рядом?
- Не торопись, на тот свет успеешь. На передовой знаешь как? Гармошку не успел растянуть – песня кончилась.
- Чего шарманку закрутил? Ты мне лучше скажи: табаку выдадут перед боем? Или зажмет старшина? Ну и скупердяй, пробы негде ставить! Сказали – на марше кормить будут.
- Не старшина – саратовские страдания...
- Наши в Сталинграде немцев зажали в колечке... Туда идем, стало быть... Эх, в сорок первом бы немца окружить. Сейчас бы где были!
- Ветер-то к холоду. К вечеру еще крепче мороз вдарит!
- К вечеру сами по немцу вдарим! Не замерзнешь небось.
- А тебе чего? Главное, личный предмет береги. А то на передовую сосульку донесешь! Тогда к жене не возвращайся без документа.
- Братцы, в какой стороне Сталинград? Где он?

Когда четыре часа назад выгружались из эшелона на том, последнем перед фронтом степном разъезде, дружно – взводами – скатывали по бревнам орудия с заваленных снегом платформ, выводили из вагонов застоявшихся, спотыкающихся лошадей, которые, фыркая, взбудораженно кося глазами, стали жадно хватать губами снег, когда всей батареей грузили, кидали на повозки ящики со снарядами, выносили оружие, последнее снаряжение, вещмешки, котелки из брошенных, опостылевших вагонов, а потом строились в походную колонну, – лихорадочное возбуждение, обычно возникающее при изменении обстановки, владело людьми. Независимо от того, что ждало каждого впереди, люди испытывали прилив неумного веселья, излишне охотно отзывались смехом на шутки, на беззлобную ругань. Разогретые работой, толкались в строю, преданно глядя на командиров взводов с одинаковым угадыванием нового, неизвестного поворота в своей судьбе.

В те минуты лейтенант Кузнецов вдруг почувствовал эту всеобщую объединенность десятков, сотен, тысяч людей в ожидании еще неизведанного скорого боя и не без волнения подумал, что теперь, именно с этих минут начала движения к передовой он сам связан со всеми ними надолго и прочно. Даже всегда бледное лицо Дроздовского, командовавшего разгрузкой батареи, казалось ему не таким холодно-непроницаемым, а то, что испытывал он во время и после налета «мессершмиттов», представлялось ушедшим, забытым. И недавний разговор с Дроздовским тоже отдалился и забылся уже. Вопреки предположениям, Дроздовский не стал слушать доклада Кузнецова о полном наличии людей во взводе (Уханов нашелся), перебил его с явным нетерпением человека, занятого неотложным делом: «Приступайте к выгрузке взвода. И чтоб комар носа не подточил! Ясно?» – «Да, ясно», – ответил Кузнецов и направился к вагону, где, окруженный толпой солдат, стоял как ни в чем не бывало командир первого орудия. В предчувствии близкого боя все эшелонное прошлое понемногу потускнело, стерлось, сравнялось, вспоминалось случайным, мелким – и Кузнецову и, видимо, Дроздовскому, как и всем в батарее, охваченной нервным порывом движения в это неиспытанное, новое, будто до отказа спрессованное в одном металлическом слове – Сталинград.

Однако после четырех часов марша по ледяной степи, среди пустынных до горизонта снегов, без хуторов, без коротких привалов, без обещанных кухонь, постепенно смолкли голоса и смех. Возбуждение прошло – люди двигались мокрые от пота, слезились, болели глаза от бесконечно жесткого сверкания солнечных сугробов. Изредка где-то слева и сзади стало погромы-

хивать отдаленным громом. Потом стихло, и непонятно было, почему не приближалась передовая, которая должна бы приблизиться, почему погромыхивало за спиной, – и невозможно было определить, где сейчас фронт, в каком направлении идет колонна. Шли, вслушиваясь, хватая с обочин пригоршнями черствый снег, жевали его, корябая губы, но снег не утолял жажды.

Разрозненная усталостью, огромная колонна нестройно растягивалась, солдаты шагали все медленнее, все безразличнее, кое-кто уже держался за щиты орудий, за передки, за борта повозок с боеприпасами, что тянули и тянули, механически мотая головами, маленькие, лохматые монгольские лошади с мокрыми мордами, обросшими колючками инея. Дымились в артиллерийских упряжках важно лоснящиеся на солнце бока коренников, на крутых их спинах оцепенело покачивались в седлах ездовые. Взвизгивали колеса орудий, глухо стучали вальки, где-то позади то и дело завывали моторы ЗИСов, буксующих на подъемах из балок. Раздробленный хруст снега под множеством ног, ритмичные удары копыт взмокших лошадей, натруженное стрекотание тракторов с тяжелыми гаубицами на прицепах – все сливалось в единообразный дремотный звук, и над дорогой, над орудиями, над машинами и людьми тяжело нависала из ледяной синевы белесая пелена с радужными иглами солнца, и вытянутая через степь колонна заведенно двигалась под ней как в полусне.

Кузнецов давно не шел впереди своего взвода, а тянулся за вторым орудием, в обильном поту, гимнастерка под ватником и шинелью прилипла к груди, горячие струйки скатывались из-под шапки от пылающих висков и тут же замерзали на ветру, стягивая кожу. Взвод в полном молчании двигался отдельными группками, давно потеряв первоначальную, обрадовавшую его стройность, когда с шутками, с беспричинным смехом выходили в степь, оставляя позади место выгрузки. Теперь перед глазами Кузнецова неравномерно колыхались спины с уродливо торчащими буграми вещмешков; у всех сбились на шинелях ремни, оттянутые гранатами. Несколько вещмешков, сброшенных кем-то с плеч, лежали на передках.

Кузнецов шагал в усталом безразличии, ожидая только одного – команды на привал, и, изредка оглядываясь, видел, как понуро ковылял, прихрамывая, за повозками Чибисов, как еще совсем недавно такой аккуратный морячок, наводчик Нечаев, плелся с неузнаваемо дурным выражением лица, с толсто заиндевевшими, мокрыми усиками, на которые он поминутно дул и неопратно при этом облизывал.

«Когда же наконец привал?»

– Когда привал? Забыли? – услышал он за спиной звучный и негодующий голос лейтенанта Давлатяна; его голос всегда удивлял Кузнецова своей наивной чистотой, почему-то рождал приятные, как отошедшее прошлое, воспоминания о том, что было когда-то милое, беспечное школьное время, в котором, вероятно, жил еще сейчас Давлатян, но которое смутным и далеким вспоминалось Кузнецову.

Он с усилием обернулся: шею сдавливал, холодил влажный целлулоидный подворотничок, выданный старшиной в училище.

Давлатян с худеньким большеглазым лицом, в отличие от остальных без подшлемника, догонял Кузнецова и на ходу аппетитно грыз комок снега.

– Послушай, Кузнецов! – сказал Давлатян стеклянно-звонким, школьным голосом. – Я, знаешь, как комсорг батареи хочу с тобой посоветоваться. Давай, если можешь.

– А что, Гога? – спросил Кузнецов, называя его по имени, как называл и в училище.

– Не читал роскошное немецкое сочинение? – Посасывая снег, Давлатян вынул из кармана шинели вчетверо сложенную желтую листовку и насупился. – Касымов в кювете нашел. Ночью с самолета бросали.

– Покажи, Гога.

Кузнецов взял листовку, развернул, пробежал глазами по крупным буквам текста:

«Сталинградские бандиты!»

Вам временно удалось окружить часть немецких войск под вашим Сталинградом, который превращен нашим воздушным флотом в развалины. Не радуйтесь! Не надейтесь, что теперь вы будете наступать! Мы вам еще устроим веселый праздник на вашей улице, загоним за Волгу и дальше кормить сибирских вшей. Перед славной победоносной армией вы слабы. Берегите свои дырявые шкуры, советские головорезы!»

– Прямо бешеные! – сказал Давлатян, увидев усмешку Кузнецова, дочитавшего листовку до конца. – Не думали, наверно, что в Сталинграде им жизни дадут. Как смотришь на эту пропаганду?

– Прав, Гога. Сочинение на вольную тему, – ответил Кузнецов, отдавая листовку. – А вообще такую ругань еще не читал. В сорок первом писали другое: «Сдавайтесь и не забудьте взять ложку и котелок!» Забрасывали такими листовками каждую ночь.

– Знаешь, как я эту пропаганду понимаю? – сказал Давлатян. – Чует собака палку. Вот и все.

Он смял листовку, бросил ее за обочину, засмеялся легким смехом, снова напомнившим Кузнецову нечто далекое, знакомое, солнечное – весенний день в окнах школы, испещренную теплыми бликами листву лип.

– Ничего не замечаешь? – заговорил Давлатян, подстраиваясь к шагу Кузнецова. – Сначала мы шли на запад, а потом повернули на юг. Куда мы идем?

– На передовую.

– Сам знаю, что на передовую, вот уж, понимаешь, угадал! – Давлатян фыркнул, но его длинные, сливовые глаза были внимательны. – Сталинград сзади теперь. Скажи, вот ты воевал... Почему нам не объявили пункт назначения? Куда мы можем прийти? Это тайна, нет? Ты что-нибудь знаешь? Неужели не в Сталинград?

– Все равно на передовую, Гога, – ответил Кузнецов. – Только на передовую, и больше никуда.

Давлатян обиженно повел острым носом.

– Это что, афоризм, да? Я что, должен засмеяться? Сам знаю. Но где здесь может быть фронт? Мы идем куда-то на юго-запад. Хочешь посмотреть по компасу?

– Я знаю, что на юго-запад.

– Слушай, если мы идем не в Сталинград, – это ужасно. Там колошматят немцев, а нас куда-то к бесу на кулички?

Лейтенант Давлатян очень хотел серьезного разговора с Кузнецовым, но этот разговор не мог ничего прояснить. Оба ничего не знали о точном маршруте дивизии, заметно измененном на марше, и оба уже догадывались, что конечный пункт движения не Сталинград: он оставался теперь за спиной, где изредка раскатывалась отдаленная канонада.

– Подтяни-ись!.. – донеслась команда спереди, нехотя передаваемая по колонне головами. – Шире ша-аг!..

– Ничего пока не ясно, – ответил Кузнецов, взглянув на беспредельно растянутую по степи колонну. – Куда-то идем. И все время подгоняют. Может быть, Гога, вдоль кольца идем. По вчерашней сводке, там опять бои.

– А, тогда бы прекрасно!.. Подтяни-ись, ребята! – подал в свою очередь команду Давлатян с неким училищным строевым переливом, но поперхнулся, сказал весело: – Вот, знаешь, эскимо помешало, в горле застряло! А ты тоже пожуй. Утоляет жажду, а то весь мокрый как мышь! – И, будто сахар, с наслаждением пососал комочек снега.

– Ты что, любил эскимо? Брось, Гога, попадешь в медсанбат. По-моему, охрип уже, – невольно улыбнулся Кузнецов.

– В медсанбат? Никогда! – воскликнул Давлатян. – Какой там медсанбат! К черту, к черту!

И он, наверное, как в школьные экзамены, суеверно сплюнул трижды через плечо, посе-
резнев, швырнул комок снега в сугроб.

– Я знаю, что такое медсанбат. Ужас в квадрате. Провалился все лето, хоть вешайся!
Лежишь как дурак и отовсюду слышишь: «Сестра, судно, сестра, утку!» Да, идиотская ерунда
какая-то, знаешь... Только на фронт под Воронеж прибыл и на второй день глупость какую-то
подхватил. Глупейшая болезнь. Повоевал, называется! Со стыда чуть с ума не сошел!

Давлатян опять презрительно фыркнул, но тут же быстро посмотрел на Кузнецова, словно
предупреждая, что никому смеяться над собой не позволит, потому что в той болезни был не
виноват.

– Какая же болезнь, Гога?

– Глупейшая, я говорю.

– Дурная болезнь? А, лейтенант? – послышался насмешливый голос Нечаева. – Как уго-
раздило, по неопытности?

Подняв воротник, руки в карманах, он отупело шагал за орудием и, заслышав разговор,
несколько взбодрился, сбоку глянул на Давлатяна; посиневшие губы выдавливали скованную
холодом полуусмешку.

– Не надо, лейтенант, стесняться. Неужто схлопотали? Бывает...

– В-вы, донжуан! – вскрикнул Давлатян, и остренький нос его с возмущением нацелился
в сторону Нечаева. – Что за глупую ерунду говорите, слушать невозможно! У меня была дез-
интерия... инфекционная!

– Хрен редьки не слаще, – не стал спорить Нечаев и похлопал рукавицей о рукавицу. –
А что вы так уж, товарищ лейтенант?

– Пре-екратите глупости! Сейчас же! – сорвавшимся на фальцет голосом приказал Давла-
тян и заморгал, как филин днем. – Вас всегда тянет говорить непонятно что!

У Нечаева смешливо дрогнули заиндевелые усики, под ними – синий блеск ровных,
молодых зубов.

– Я говорю, товарищ лейтенант, все под богом ходим...

– Это вы, а не я... вы под богом ходите, а не я! – с совершенно нелепым негодованием
выкрикнул Давлатян. – Вас послушать – просто уши вянут... будто всю жизнь глупостями
этими и занимаетесь, будто султан какой! От вашей пошлости женщины плачут, наверно!

– Они от другого плачут, лейтенант, в разные моменты. – Под усиками Нечаева скольз-
нула улыбка. – Если в загс не затащила – слезы и истерика. Женщинки, они как – одной ручкой
к себе прижимают: тью-тью-тью, гуль-гуль-гуль, другой отталкивают: прочь, ненавижу, гадость,
оставьте меня в покое, как вам не стыдно... И всякое подобное. Психология ловушки и ехид-
ного коварства. У вас-то с практикой не густо было, лейтенант, учитесь, пока жив сержант
Нечаев. Передаю опыт наблюдений.

– Какое право вы имеете... так говорить о женщинах? – окончательно возмутился Давла-
тян и стал похожим на взъерошенного воробья. – Что вы такое подразумеваете под практикой?
С вашими мыслями на базар ходить!..

Лейтенант Давлатян начал даже заикаться в негодовании, щеки его зацвели темно-алыми
пятнами. Он не разучился краснеть при грубой ругани солдат или цинично обнаженном раз-
говоре о женщинах, и это тоже было то далекое, школьное, что осталось в нем и чего почти не
было в Кузнецове: привык ко многому в летнее крещение под Рославлем.

– Идите к орудью, Нечаев, – вмешался Кузнецов. – Не заметили, что влезли в чужой
разговор?

– Е-есть, товарищ лейтенант, – протянул Нечаев и, сделав небрежный жест, напоминаю-
щий козыряние, отошел к орудью.

– Все-таки ты лейтенант, Гога, и привыкай, – сказал Кузнецов, сдерживаясь, чтобы не засмеяться, увидев, как Давлатян с воинственной неприступностью вздернул свой лиловый на холоде нос.

– А я не хочу привыкать! Это к чему? С какими-то намеками полез! Мы что, животные какие?

– Подтянись! Ближе к орудиям! Приготовиться одерживать!..

От головы колонны навстречу батарее выехал Дроздовский. В седле сидел прямо, как влитой, непроницаемое лицо под слегка сдвинутой со лба шапкой строго; перешел с рыси на шаг, остановил крепконогую, длинношерстную, с влажной мордой монгольскую лошадь обочь колонны, придирчивым взглядом осматривая растянутые взводы, цепочкой и вразброд шагающих солдат. У всех затягивали подбородки потолстевшие от инея подшлемники, воротники подняты, вещмешки неравномерно покачивались на сгорбленных спинах. Ни одна команда, кроме команды «привал», уже не могла подтянуть, подчинить этих людей, отупевших в усталости. И Дроздовского раздражала полусонная нестройность батареи, равнодушие, безразличие ко всему людей; но особенно раздражало то, что на передках были сложены солдатские вещмешки и чей-то карабин палкой торчал из груды вещмешков на первом орудии.

– Подтяни-ись! – Дроздовский упруго привстал в седле. – Держать нормальную дистанцию! Чьи вещмешки на передке? Чей карабин? Взять с передка!..

Но никто не двинулся к передку, никто не побежал, только шагавшие ближе к нему чуть ускорили шаги, вернее, сделали вид, что понята команда. Дроздовский, все выше привставая на стременах, пропустил мимо себя батарею, затем решительно щелкнул плеткой по голенищу валенка:

– Командиры огневых взводов, ко мне!

Кузнецов и Давлатян подошли вместе. Слегка перегнувшись с седла, ожигая обоих прозрачными, покрасневшими на ветру глазами, Дроздовский заговорил с резкостью:

– То, что нет привала, не дает права распускать на марше батарею! Даже карабины на передках! Что, может, люди уже вам не подчиняются?

– Все устали, комбат, до предела, – негромко сказал Кузнецов. – Это же ясно.

– Даже лошадь вон как дышит!.. – поддержал Давлатян и погладил влажную, в иглистых сосульках морду комбатовой лошади, паром дыхания обдавшей его рукавицу.

Дроздовский дернул повод, лошадь вскинула голову.

– Командиры взводов у меня, оказывается, лирики! – ядовито заговорил он. – «Люди устали», «лошадь еле дышит». В гости чай пить идем или на передовую? Добренькими хотите быть? У добреньких на фронте люди, как мухи, гибнут! Как воевать будем – со словами «простите, пожалуйста»? Так вот... если через пять минут карабины и вещмешки будут лежать на передках, вы, командиры взводов, сами понесете их на своих плечах! Ясно поняли?

– Ясно.

Чувствуя злую правоту Дроздовского, Кузнецов поднес руку к виску, повернулся и зашагал к передкам. Давлатян побежал к орудиям своего взвода.

– Чьи шмотки? – крикнул Кузнецов, стаскивая с передка загремевший котелком вещмешок. – Чей карабин?

Солдаты, оборачиваясь, машинально поправляли за плечами вещмешки; кто-то сказал угрюмо:

– Кто барахло оставил? Чибисов, никак?

– Чибисо-ов! – с сержантской интонацией заорал Нечаев, напрягая горло, – К лейтенанту!

Маленький Чибисов, в не по росту широкой, короткой, словно толстая юбка, шинели, хромая, натываясь на солдат, спешил к передкам от повозок боепитания, издали выказывая всем выжидательную, застывшую улыбку.

– Ваш вещмешок? И карабин? – спросил Кузнецов, испытывая неловкость оттого, что Чибисов засуетился у передка, взглядом и движениями выражая свою ошибку.

– Мой, товарищ лейтенант, мой... – Пар оседал на инистую шерсть подшлемника, голос его был глух. – Виноват я, товарищ лейтенант... Ногу натер до крови. Думал, разгрузюсь – малость ноге полегче будет.

– Устали? – неожиданно тихо спросил Кузнецов и посмотрел на Дроздовского. Тот, выпрямившись в седле, ехал вдоль колонны и наблюдал за ними сбоку. Кузнецов вполголоса приказал: – Не отставать, Чибисов. Идти за передками.

– Слушаюсь я, слушаюсь...

Рыхло и пьяно припадая на натертую ногу, Чибисов заковылял рысцей за орудием.

– А этот сидор чей? – спросил Кузнецов, взяв второй вещмешок.

В это время сзади послышался смех. Кузнецов подумал, что смеются над ним, над его старшинской распорядительностью или над Чибисовым, и оглянулся.

Слева от орудия шел по обочине медвежьей развалкой Уханов с Зоей, посмеиваясь, говорил ей что-то, а она, будто переломленная ремнем в талии, рассеянно слушала, кивала ему потным, усталым лицом. Санитарной сумки на ее боку не было, – наверно, положила на повозку санроты.

Они давно, по-видимому, шли вместе за батарейными тылами и сейчас оба догнали орудия. Утомленные солдаты недоброжелательно косились на них, как бы отыскивая в наигранной веселости Уханова тайный, раздражающий смысл.

– И чего конюшенным жеребцом заливаешься? – заметил пожилой ездовой Рубин, покачиваясь в седле квадратным телом, то и дело корябая рукавицей зябнувший подбородок. – Ровно показать перед девкой хочет героическое состояние нервов: живой, мол, я! Ты гляди-ка, сосед, – обратился он к Чибисову, – как наша зелень батарейная вокруг девки-то городские амуры разводит. Ровно и воевать не думают!

– А? – отозвался Чибисов, старательно поспешая за передком, и, высморкавшись, вытер пальцы о полу шинели. – Прости за-ради бога, не слышал я...



– Глухарь аль притворяешься, пленный? Щенки, говорю! – крикнул Рубин. – Нам с тобой бабу хоть в полной готовности давай – отказались бы... А им хоть бы хны!

– А? Да-да-да, – забормотал Чибисов. – Хоть бы хны... верно говоришь.

– Чего «верно»? Блажь городская в башках – вот что! Всё хи-хи да ха-ха вокруг юбки. Легкомыслие!

– Не болтайте глупости, Рубин! – сказал сердито Кузнецов, отстав от передка и глядя в направлении белого полшубка Зои.

Вперевалку ступая, Уханов продолжал рассказывать ей что-то, но Зоя теперь не слушала его, не кивала ему. Подняв голову, она в каком-то ожидании смотрела на Дроздовского, тоже, как и все, обернувшегося в их сторону, и потом, как по приказу, пошла к нему, мгновенно забыв про Уханова. С незнакомым, покорным выражением приблизясь к Дроздовскому, она неровным голосом окликнула:

– Товарищ лейтенант... – и, шагая рядом с лошадью, подняла к нему лицо.

Дроздовский в ответ не то поморщился, не то улыбнулся, украдкой тыльной стороной перчатки погладил ее по щеке, проговорил:

– Вам-то советую, санинструктор, сесть на повозку санроты. В батарее вам делать нечего.

И пришпорил коня в рысь, исчез впереди, в голове колонны, откуда неслась команда: «Спуск, одерживай!», а солдаты затеснились вокруг упряжек, около передков, облепили орудия, замедлившие движение перед спуском.

– Так что, мне в санроту? – сказала Зоя грустно. – Хорошо. Я пойду. До свидания, мальчики. Не скучайте.

– Зачем в санроту? – сказал Уханов, совершенно не обиженный кратким ее невниманием. – Садитесь на орудейный передок. Куда это он вас гонит? Лейтенант, найдется место для санинструктора?

Ватник Уханова распахнут на груди до ремня, подшлемник снят, шапка с незавязанными болтающимися ушами оттиснута на затылок, открывая до красноты нажатый ветром лоб, светлые, как бы не знающие стыда глаза сощурены.

– Для санинструктора может быть исключение, – ответил Кузнецов. – Если вы устали, Зоя, садитесь на передок второго орудия.

– Спасибо, родненькие, – оживилась Зоя. – Я совсем не устала. Кто вам сказал, что я устала? Шапку даже хочется снять: до чего жарко! И пить немного хочется... Пробовала снег – от него какой-то железный вкус во рту!

– Хотите глоток для бодрости?

Уханов отстегнул фляжку от ремня, намекаяюще потряс ее над ухом, во фляжке забулькало.

– Неужели?.. А что здесь, Уханов? – спросила Зоя, и заиндеветавшие стрелочки бровей поднялись. – Вода? У вас осталось?

– Попробуйте. – Уханов отвинтил металлическую пробку на фляжке. – Если не поможет – убьете меня. Вот из этого карабина. Стрелять умеете?

– Как-нибудь сумею нажать спусковой крючок. Не беспокойтесь!

Кузнецову неприятна была эта ее неестественная оживленность после мимолетного разговора с Дроздовским, это необъяснимое ее расположение и доверчивость к Уханову, и он сказал строго:

– Уберите фляжку. Что вы предлагаете? Воду или водку?

– Нет уж! А может быть, я хочу! – Зоя тряхнула головой с вызывающей решимостью. – Почему вы меня, лейтенант, так опекаете? Родненький... вы что, ревнуете? – Она погладила его по рукаву шинели. – Этого совсем не надо, Кузнецов, прошу вас, честное слово. Я одинаково отношусь к вам обоим.

– Я не могу вас ревновать к вашему мужу, – сказал Кузнецов полуиронически, и это, почувдилось, прозвучало вымученной пошлостью.

– К моему мужу? – Она расширила глаза. – Кто вам сказал, что у меня муж?

– Вы сами сказали. Разве не помните? А впрочем, простите, Зоя, это не мое дело, хотя я был бы рад, если бы у вас был муж.

– Ах да, сказала тогда Нечаеву... Какая чепуха! – Она рассмеялась. – Я хочу быть вольным перышком. Если муж – значит, дети, а это совершенно невозможно на войне, как преступление. Понимаете вы? Я хочу, чтобы вы знали это, Кузнецов, и вы, Уханов... Просто я вам верю, вам обоим! Но пусть у меня будет какой-то серьезный и грозный муж, если вам хочется, Кузнецов! Ладно?

– Мы запомнили, – ответил Уханов. – Но это не играет роли.

– Тогда спасибо вам, братики. Вы все-таки хорошие. С вами можно воевать.

И, закрыв глаза, как перед ощущением боли, преодолевая себя, отпила глоток из фляжки, закашлялась, тотчас засмеялась, помахав варежкой перед вытянутыми, дующими губами. С отвращением, как заметил Кузнецов, она отдала фляжку, посмотрела сквозь влажные ресницы на Уханова, невозмутимо завинчивающего пробку, но сказала не без веселого изумления:

– Какая гадость! Но как все же хорошо! У меня сразу лампочка в животе зажглась!

– Может, повторить? – спросил добродушно Уханов. – Вы разве в первый раз? Это самое...

Зоя качнула головой.

– Нет, я пробовала...

– Уберите фляжку, и чтоб я не видел! – резко сказал Кузнецов. – И проводите Зою в санроту. Там ей будет лучше!

– Ну, зачем вы хотите мной командовать, лейтенант? – шутливо спросила Зоя. – Вы, по моему, подражаете Дроздовскому, но не очень умело. Он бы железным голосом приказал: «В санроту!», и Уханов ответил бы: «Есть».

– Я бы подумал, – сказал Уханов.

– Ничего не думали бы. «Есть» – и все!

– Од-держивай!.. Спуск! – донеслась спереди угрожающая команда. – Тормоз! Расчеты к орудиям!

Кузнецов повторил команду и пошел вперед, в голову батареи, где вокруг упряжки первого орудия густо столпились солдаты, руками придерживая станины и колеса, упиравшись плечами в щит, в передок, а ездовые с руганью и криками натягивали поводья, сдерживали лоснящихся от пота лошадей, приседающих на задние ноги перед крутым спуском в глубокую балку.

Передняя батарея миновала накатанный, натоптанный, стеклом вспыхивающий ледяной спуск, благополучно прошла по дну балки, и орудия и передки, по-муравьиному облепленные кишашими солдатами, подталкиваемые ими снизу, подымались на противоположный скат, за которым извивами текла и текла в степи нескончаемая колонна. А далеко внизу, на дороге, поджидаяще стоял командир взвода управления старшина Голованов и кричал надсадным голосом:

– Давай... давай на меня!

– Осторожней! Ноги лошадям не переломать! Расчеты од-держивай! – скомандовал Дроздовский, подъезжая на лошади к краю спуска. – Командиры взводов!.. Погубим лошадей – на себе орудия покатым! Одерживай! Медленней! Медленней!..

«Да, если переломаем ноги лошадям, на себе придется тащить орудия!» – подумал в возбуждении Кузнецов, вдруг сознавая, что и он, и все остальные полностью подчинены чьей-то воле, которой никто не имеет права сопротивляться в неистово-неудержимом, огромном потоке, где уже не было отдельного человека с его бессилием и усталостью. И, упиваясь этой поглощающей растворенностью во всех, он повторил команду:

– Держать, держать!.. Все к орудиям! – и бросился к колесам первого передка, в гущу солдатских тел, а расчет с озверелыми лицами, с хрипом навалился на передок, на колеса заскользившего по крутому скату орудия.

– Стой, зараза! Ос-сади! – вразброд закричали на лошадей ездовые. Они будто очнулись и, крича, страшно раскрывали рты в ледяной бахrome на подшлемниках.

Колеса передка и орудия не вращались, стянутые цепями тормоза, но цепь не врезалась в накатанную до полированной гладкости, набитую дорогу, и валенки солдат разъезжались, скользили по скату, не находя точек опоры. А тяжесть нагруженного снарядами передка и тяжесть орудия неудержимо наваливались сверху. Деревянные вальки изредка ударяли по задним натруженным ногам присевших коренников с задранными мордами; ездовые дико закричали, оглядываясь на расчет, ненавидя и умоляя взглядом, – и весь клубок трудно дышащих, нависших на колеса тел покатылся вниз, убыстряя и убыстряя движение.

– Одерживай! – выдохнул Кузнецов, чувствуя необоримую тяжесть орудия, видя рядом налитое кровью лицо Уханова, широкой своей спиной упершегося в передок; а справа – выкаченные напряжением круглые глаза Нечаева, его белые усики, и неожиданно в разгоряченной голове мелькнула мысль о том, что он знает их давно, может быть, с тех страшных месяцев отступления под Смоленском, когда он не был лейтенантом, но когда вот так же вытягивали орудия при отступлении. Однако он не знал их тогда и удивился этой мысли. – Ноги, ноги берегите... – выдавил Кузнецов шепотом.

Орудие с передком скатывалось по откосу в балку, визжала по снегу цепь, оскальзывались на спуске потные коренники, с резким звоном выбивая копытами острые брызги льда; ездовые, отваливаясь назад, еле удерживаясь в седлах, натягивали поводья, но правая лошадь переднего уноса внезапно упала брюхом на дорогу и, пытаясь встать, натужно дергая головой, покатила вниз, потянув за собой коренников.

Ездовой на левой уносной удержался в седле, с испуганно-сумасшедшим видом отшатнулся вбок, не в силах поднять истошным криком правую, а она билась о дорогу, скользила на боку, рвала, тянула построшки. С отчаянием Кузнецов ощутил, как орудие неслось по скату, настигая упавшую лошадь, увидел, как внизу старшина Голованов бросился к ней навстречу, потом отскочил в сторону и опять кинулся с попыткой схватить за повод.

– Одерживай!.. – крикнул Кузнецов. И, ощутив невесомую легкость в плече, не сразу понял, что передок вместе с орудием, скатившись вниз, затормозил на дне балки. С крутой руганью солдаты утомленно распрямляли спины, потирая плечи, смотрели вперед, на упряжку.

– Что с уносной? – едва выговорил Кузнецов, пошатываясь на одеревеневших ногах, и побежал к лошадям.

Здесь уже стояли Голованов с разведчиками, ездовой Сергуненков, его напарник с коренников Рубин. Все глядели на лошадь, лежавшую на боку посреди дороги. Сергуненков, худенький, бледный, с испуганным лицом подростка, с длинными руками, озираясь беспомощно, вдруг взялся за повод, а молодая уносная, будто поняв, что он хотел сделать, замотала головой, вырываясь, умоляюще кося влажными кроваво-зеркальными, возбужденными глазами. Сергуненков отдернул руку и, оглянувшись в молчаливом отчаянии, присел перед уносной на корточки. Поводя мокрыми потными боками, лошадь заскребла по льду задними копытами, в горячке стараясь подняться, но не поднялась, и по тому, как были неестественно подогнуты ее передние ноги, Кузнецов понял, что она не подымет.

– Да вжарь ты ей разá, Сергуненков! Чего раскорячился? Не знаешь норова этой сволочи-симулянтки? – в сердцах выругался ездовой с коренников Рубин, солдат с обветренным, грубым лицом, и хлестнул кнутом по своему наножнику.

– Сам ты сволочь! – тонким, протяжным голосом крикнул Сергуненков. – Не видишь разве?

– А чё видеть-то? Знаю ее: все взбрыкивает! Играться бы только. Кнута ей – враз очухается!

– Заткнись, Рубин, надоел! – Уханов предупреждающе толкнул его плечом. – Сказать хочешь – подумай.

– И до фронта не дошла лошаденка-то, – вздохнул с жалостью Чибисов. – Беда какая...

– Да, кажется, передние ноги, – сказал Кузнецов, обходя уносную. – Ну, что вы наделали, ездовые, черт вас возьми! Держали поводья, называется!

– А что делать, лейтенант? – проговорил Уханов. – Конец лошадке. На трех остались. Запасных нет.

– На горбу, значит, потащим орудие? – спросил Нечаев, покусывая усики. – Давно мечтал. С детства.

– Вот комбат сюда... – робко сказал Чибисов. – Разберется он.

– Что у вас, первый взвод? Почему задержка?

Дроздовский спустился на своей монгольской лошади в балку, подъехал к толпе солдат, расступившихся впереди, быстро взглянул на уносную, тяжело носившую боками, перед которой сидел на корточках, ссутулясь, Сергуненков. Тонкое лицо Дроздовского казалось спокойно-застывшим, но в зрачках плескалась сдерживаемая ярость.

– Я... вас... предупреждал, первый взвод! – разделяя слова, заговорил он и указал плеткой на ссутуленную спину Сергуненкова. – Какого дьявола растерялись? Куда смотрели? Ездовой, вы что, молитесь? Что с лошадыю?

– Вы же видите, товарищ лейтенант, – сказал Кузнецов.

Сергуненков, как слепой, обратил глаза к Дроздовскому, по детским щекам его из-под обмерзших ресниц катились слезы. Он молчал, слизывая языком эти светлые капельки, и, сняв рукавицу, с осторожной нежностью гладил морду лошади. Уносная не билась, не пыталась встать, а, раздувая живот, лежала тихо, понимая, по-собачьи вытянув шею, положив голову на дорогу, со свистом дыша Сергуненкову в пальцы, шупая их мягкими губами. Что-то невероятно тоскливое, предсмертное было в ее влажных, косящих на солдат глазах. И Кузнецов заметил, что на ладони Сергуненкова был овес, вероятно, давно припрятанный в кармане. Но голодная лошадь не ела, лишь, вздрагивая влажными ноздрями, обнюхивала ладонь ездового, слабо хватая губами и роняя на дорогу мокрые зерна. Она улавливала, видимо, давно забытый в этих снежных степях запах, но вместе с тем чувствовала и другое, то неотвратимое, что отражалось в глазах и позе Сергуненкова.

– Ноги, товарищ лейтенант, – заговорил слабым голосом Сергуненков, все слизывая языком капельки слез с уголков рта. – Вон... как человек, мучается... И надо же ей было вправо пойти... Испугалась чего-то... Я ведь ее сдерживал... молодая она кобылка. Неопытная под орудием...

– Держать надо было, ежова голова! А не о девках мечтать! – злобно выговорил ездовой Рубин. – Чего развесил нюни-то?... Тьфу, щенок!.. Людей тут скоро без разбору, а он над лошадейкой... Смотреть тошно! Пристрелить надо, чтоб не мучилась, – и дело с концом!

Весь квадратный, неповоротливый, толсто одетый – в ватнике, в шинели, в стеганых штанах, – с ножиком на правой ноге, с карабином за спиной, этот ездовой неожиданно вызвал у Кузнецова неприязнь своей злобной решительностью. Слово «пристрелить» прозвучало приговором на казнь невинного.

– Придется, видать, – проговорил кто-то. – А жаль кобылку...

При отступлении под Рославлем Кузнецов видел раз, как солдаты из жалости пристреливают раненых лошадей, переставших быть тягловой силой. Но и тогда это походило на противоестественный, неоправданно жестокий расстрел ослабевшего.

– Не дам! – тонким голосом вскрикнул Сергуненков и, вскочив, шагнул к Рубину. – Что предлагаешь, живодер? Что предлагаешь? Не дам лошадь! В чем она виновата?

– Прекратите истерику, Сергуненков! Раньше надо было думать. Никто, кроме вас, не виноват. Возьмите себя в руки! – оборвал Дроздовский и указал плеткой на кювет. – Оттащите лошадь с дороги, чтоб не мешала. Продолжать спуск! По местам!

Кузнецов сказал:

– Второе орудие стоило бы отцепить от передка и спускать на руках. Так будет вернее.

– Как угодно, хоть на плечах спускайте! – ответил Дроздовский, глядя поверх головы Кузнецова на солдат, неловко волочивших лошадь к обочине, и pokrивился. – Немедленно пристрелить! Рубин!..

А уносная будто поняла смысл отданного распоряжения. Прерывистое, визгливое ее ржание прорезало морозный воздух. Как крик о боли, о защите, этот вибрирующий визг вонзился в уши Кузнецова. Он знал, что лошади причиняли страдания, сталкивая ее, живую, с переломанными ногами, к кювету, и, готовый зажмуриться, увидел ее последнее усилие подняться, как бы в доказательство, что она еще жива, что убивать ее не нужно. Ездовой Рубин, ощерив крепкие зубы, с торопливой озлобленностью на багровом лице, спеша, отводил затвор винтовки, а ствол неприцельно колебался, направленный в поднятую лошадиную голову, мокрую, потную, с трясующимися от последнего умоляющего ржания губами.

Сухо треснул выстрел. Рубин выругался и, взглянув на лошадь, дослал в ствольную коробку второй патрон. Лошадь уже не ржала, а тихо из стороны в сторону поводила головой, теперь не защищаясь, и, дрожа ноздрями, фыркала только.

– Раззява, стрелять не умеешь! – с бешенством выкрикнул Уханов, стоявший возле замершего в оцепенении Сергуненкова, и рванулся к ездovому. – На мясокомбинате тебе работать!

Он выхватил винтовку из рук Рубина и, тщательно прицелясь, в упор выстрелил в голову лошади, ткнувшейся мордой в снег. Сразу побелев лицом, он выщелкнул патрон, вонзившийся донышком в гребень сугроба, швырнул винтовку Рубину.

– Возьми свою палку, мясник! Чего дурындасом ухмыляешься? В носу чешется?

– Вот ты-то мясник, видать, хоть и городской, шибко грамотный, – пробормотал Рубин обиженно и, туго перегнув толстое, квадратное тело, поднял винтовку, рукавом смахнул с нее снег.

– Морду береги, я шибко грамотный, запомни! – проговорил Уханов и повернулся к Сергуненкову, грубовато похлопал его по плечу. – Ладно. Еще не все потеряно. Достанем, брат, трофейных лошадей в Сталинграде. Я обещаю.

– Паршерон у немцев называется, – заметил старшина Голованов. – Добудем!

– Не паршерон, а першерон, – поправил Уханов. – Пора знать! Что, первый год воюешь?

– А кто их разберет?

– Разбирайся!

– Спускать второе! – приказал Дроздовский и, отъезжая ко второму орудью, добавил: – Все правильно, Уханов.

– А вы меня не хвалите, товарищ лейтенант! – с наглой насмешливостью ответил Уханов. В его светлых глазах не остывал горячий блеск, как бы вызывающий на ссору. – Рано еще... Ошибаетесь! Я не убийца лошадей.

Кузнецов подал команду отцеплять передок от второго орудия.

Привал был объявлен на заходе солнца, когда колонна втянулась в какую-то сожженную станицу. И тут всех удивили первые пепелища по бокам дороги, одинокие остовы обугленных печей под остро торчащими ветлами по берегам замерзшей реки, где туманом подымался ядовито-красный пар из прорубей. На земле и по западному горизонту горел кроваво-багровый свет декабрьского заката, такого накаленно-морозного, пронзительного, как боль, что лица солдат, обледенелые орудия, крупы лошадей, остановившиеся по обочине машины, – все было заковано им, цепенело в его металлической яркости, в его холодном огне на сугробах.

– Братцы, куда мы идем? Немец где?

– Деревня здесь какая-то была. Гляди, ни одной хаты. Что такое? Шел к Федьке на свадьбу, а к Сидору на похороны пришел!

– С какой стати про похороны запел? Дойдем еще до Сталинграда. Начальству видней...

– Когда ж бой тут был?..

– Давно, стало быть.

– Согреться бы где-нибудь, а? Закоченеем до передовой.

– А ты мне скажи, где она, передовая?

Еще километра за три до станицы, на перекрестке степных дорог, когда большая группа танков – свежепокрашенных белым «тридцатьчетверок» – на несколько минут остановила колонну, двигаясь наперерез ей в сторону заката, пристрелочный бризантный с хрустом разломился, кометой сверкнул в воздухе над танками, черной пылью припорошил снег сбоку дороги. Никто не лег сначала, не зная, откуда по-шалльному прилетел он, солдаты глядели на танки, преградившие колонне путь. Но едва прошли «тридцатьчетверки», – где-то сзади послышались тупые удары выстрелов отдаленных батарей, и дальнoбойные снаряды с долгим сопением засверлили воздушное пространство, с бомбовым грохотом разорвались на перекрестке. Все подумали, что немцы просматривают этот перекресток с тыла, и в изнеможении легли прямо на обочине – ни у кого не было сил бежать далеко от дороги. Обстрел скоро кончился. Потерь

не было, колонна потянулась дальше. Люди шагали, еле волоча ноги, мимо огромных свежих воронок, луковый запах немецкого тола рассеивался в воздухе. Этот запах возможной смерти напоминал уже не об опасности, а о недостижимом теперь Сталинграде, о невидимых немцах на таинственных, далеких огневых, откуда сейчас стреляли они.

И Кузнецов, то впадая в короткое забытие, то слыша соединенные шаги и слитное движение колонны, думал об одном: «Когда скоман্দуют привал? Когда привал?»

Но когда наконец после многочасового марша вошли в сожженную станицу, когда спереди колонны долгожданным призывом запорхала команда «привал», никто не ощутил физического облегчения. Закоченевшие ездовые сползли с дымящихся лошадей; спотыкаясь, непрочно переступая на одеревеневших ногах, отошли к обочинам, вздрагивая, справляя тут же малую нужду. А артиллеристы в бессилии повалились на снег, за повозками и близ орудий, тесно прижимаясь друг к другу боками, спинами, тоскливо оглядывали то, что было недавно станицей: угрюмые тени печей, как памятники на кладбище, дальние, резко очерченные контуры двух уцелевших амбаров – черные печати среди морозно плававшего по западу неба.

Это огненно-подожженное закатом пространство было заставлено автомашинами, тракторами, «катюшами», гаубицами, повозками, густо скопившимися здесь. Однако привал на улицах несуществующей станицы, без тепла, без кухонь, без ощущения близкой передовой, походил на ложь, на несправедливость, которую чувствовал каждый. С запада дул ветер, нес ледяные иголки снега, приторно, печально пахло пеплом пожарищ.

Еле пересиливая себя, чтобы не упасть, Кузнецов подошел к ездовым первого орудия. Рубин, еще более побагровев, с угрюмой замкнутостью ощупывал постромки коренников, потно-скользкие бока лошадей парились. Молоденький Сергуненков, не прощающе сомкнув белесые брови, стоял возле своей единственной, уносной, подставлял к жадно хватающим губам усталой лошади горстку овса на ладони, другой рукой гладил, трепал ее влажную нагнутую шею. Кузнецов посмотрел на ездовых, не замечающих один другого, хотел сказать нечто примирительное им обоим, но не сказал и пошел к расчетам с желанием лечь в середину солдатских тел, прислониться к чьей-нибудь спине и, загородив от жгучего ветра лицо воротником, лежать, дышать в него, согреваясь так.

– ...Подъем! Кончай привал! – потянулось по колонне. – Приготовиться к движению!

– Моргнуть не успели, кончай ночевать? – переговаривались в темноте раздраженные голоса. – Все гоняют.

– Пожевать бы чего надо, а старшины с кухней нету на горизонтах. Воюет небось в тылах!

«Ну вот опять, – подумал Кузнецов, подсознательно ожидавший эту команду и чувствуя до дрожи в ногах свинцовую усталость. – Так где же фронт? Куда движение?..»

Он не знал, а только догадывался, что Сталинград оставался где-то за спиной, похоже было, в тылу, не знал, что вся армия, и, следовательно, их дивизия, в состав которой входили артполк и его батарея, его взвод, форсированно двигались в одном направлении – на юго-запад, навстречу начавшим наступление немецким танковым дивизиям с целью деблокировать окруженную в районе Сталинграда многотысячную армию Паулюса. Он не знал и того, что его собственная судьба и судьба всех, кто был рядом с ним, – тех, кому суждено было умереть, и тех, кому предстояло жить, – теперь стала общей судьбой независимо от того, что ждало каждого...

– Приготовиться к движению! Командиры взводов, к командиру батареи!

В сгустившихся сумерках без особой охоты, с вялой неповоротливостью подымались солдаты. Отовсюду доносился кашель, крихтень, порой ругань. Расчеты, недовольно вставая к орудиям, разбирали положенные на станины винтовки и карабины, поминая богом кухню и старшину. А ездовые зло снимали торбы с морд жующих лошадей, локтями замахиваясь на них: «Но, дармоеды, все бы вам жрать!» Впереди начали постреливать выхлопами, загудели моторы – по улице медленно вытягивались для движения гаубичные батареи.

Лейтенант Дроздовский в группе разведчиков и связистов стоял на середине дороги, вблизи потушенного костра, чадающего по ногам белым дымом. Когда подошел Кузнецов, он светил карманным фонариком на карту под целлулоидом планшетки, которую держал в руках огромный старшина Голованов; тоном, не терпящим возражений, Дроздовский говорил:

– Вопросы излишни. Конечный пункт маршрута неизвестен. Направление вот по этой дороге, на юго-запад. Вы со взводом впереди батареи. Батарея по-прежнему двигается в арьергарде полка.

– Ясно-понятно, – утробно пророкотал Голованов и в окружении разведчиков и связистов пошел по дороге вперед, мимо темнеющих повозок.

– Лейтенант Кузнецов? – Дроздовский приподнял фонарик. От его жестковатого света стало больно глазам.

Слегка отстраняясь, Кузнецов сказал:

– Можно без освещения? Я и так вижу. Что нового, комбат?

– Во взводе все в порядке? Отставших нет? Больных нет? Готовы к движению?

Дроздовский задавал вопросы механически, думая, видно, о другом, и Кузнецова вдруг обозлило это.

– Люди не успели отдохнуть. Хотел бы спросить: где кухня, комбат? Почему отстал старшина? Ведь все голодные как черти? А к движению готовы, что спрашивать? Никто не заболел, не отстал. Дезертиров тоже нет...

– Что это за доклад, Кузнецов? – оборвал Дроздовский. – Недовольны? Может быть, будем сидеть сложа ручки и ждать жратву? Вы кто: командир взвода или какой-нибудь ездовой?

– Насколько мне известно, я командир взвода.

– Незаметно! Плететесь на поводу у всяких Ухановых!.. Что это у вас за настроение? Немедленно во взвод! – ледяным тоном приказал Дроздовский. – И готовьте личный состав не к мыслям о жратве, а к бою! Вы меня, лейтенант Кузнецов, удивляете! То люди у вас отстают, то лошади ноги ломают... Не знаю, как мы воевать вместе будем!

– Вы меня тоже удивляете, комбат! Можно разговаривать и иначе. Лучше пойму, – ответил Кузнецов неприязненно и зашагал в потемки, наполненные гудением моторов, ржанием лошадей.

– Лейтенант Кузнецов! – окликнул Дроздовский. – Назад!..

– Что еще?

Луч фонарика приблизился сзади, дымясь в морозном тумане, уперся в щеку защекотавшим светом.

– Лейтенант Кузнецов!.. – Узкое лезвие света резануло по глазам; Дроздовский зашел вперед, преградив путь, весь натянувшись струной. – Стой, я приказал!

– Убери фонарь, комбат, – тихо проговорил Кузнецов, чувствуя, что может произойти между ними в эту минуту, но именно сейчас каждое слово Дроздовского, его непрекословно чеканящий голос поднимали в Кузнецове такое неборимое, глухое сопротивление, как будто то, что делал, говорил, приказывал ему Дроздовский, было упрямой и рассчитанной попыткой напомнить о своей власти и унижить его.

«Да, он хочет этого», – подумал Кузнецов, и, подумав так, ощутил передвинутый вплотную луч фонарика и в слепящих оранжевых кругах света услышал шепот Дроздовского:

– Кузнецов... Запомни, в батарее я командую. Я!.. Только я! Здесь не училище! Кончилось панибратство! Будешь шебаршиться – плохо для тебя кончится! Церемониться не стану, не намерен! Все ясно? Бегом во взвод! – Дроздовский отпихнул его фонарем в грудь. – Во взвод! Бегом!..

Ослепленный прямым светом, он не видел глаз Дроздовского, только уперлось в грудь что-то холодное и твердое, как тупое острие. И тогда, резко отведя в сторону его руку с фонариком и несколько придержав ее, Кузнецов выговорил:

– Фонарь ты все-таки уберешь... А насчет угрозы... смешно слушать, комбат!

И пошел по невидимой дороге, плохо различая в темноте контуры машин, передков, орудий, фигуры ездовых, крупы лошадей, – после света фонаря впереди шли круги, похожие на искрящиеся пятна погашенных костров в потемках. Возле своего взвода он натолкнулся на лейтенанта Давлатяна. Тот на бегу дохнул мягким приятным хлебным запахом, быстро спросил:

– Ты от Дроздовского? Что там?

– Иди, Гога. Интересуется настроением во взводе, есть ли больные, есть ли дезертиры, – сказал Кузнецов не без злой иронии. – У тебя, по-моему, есть, а?

– Жуткая глупистика! – школьным своим голосом отозвался Давлатян и, грызя сухарь, пренебрежительно добавил: – Чушь в квадрате!

Он исчез в темноте, унося с собой этот успокоительный, домашний запах хлеба.

«Именно глупистика и истерика, – подумал Кузнецов, вспомнив предупреждающие слова Дроздовского и чувствуя в них противоестественную оголенность. – Он что? Мстит мне за Уханова, за сломавшую ноги лошадь?»

Издали, передаваемая по колонне, как восходящая по ступеням, приближалась знакомая команда «шагом марш». И Кузнецов, подойдя к упряжке первого орудия, с проступающими на лошадях силуэтами ездовых, повторил ее:

– Взвод, шагом ма-арш!..

Колонна разом двинулась, заколыхалась, застучали вальки, слитно завизжал под примерзшими колесами орудий снег. Вразнобой застучали шаги множества ног.

А когда взвод стал вытягиваться по дороге, кто-то сунул в руку Кузнецова жесткий колючий сухарь.

– Как зверь голодный, да? – расслышал он голос Давлатяна. – Возьми. Веселее будет.

Разгрызая сухарь, испытывая тягуче-сладкое утешение голода, Кузнецов сказал растроганно:

– Спасибо, Гога. Как же он у тебя сохранился?

– А ну тебя! Чепуху говоришь. К передовой идем, да?

– Наверно, Гога.

– Скорей бы, знаешь, честное слово...

Глава пятая

В то время как в высших немецких штабах все, казалось, было predetermined, разработано, утверждено и танковые дивизии Манштейна начали бои на прорыв из района Котельниково в истерзанной четырехмесячной битвой Сталинград, к замкнутой нашими фронтами в снегах и руинах более чем трехсоттысячной группировке генерал-полковника Паулюса, напряженно ждущей исхода, – в это время еще одна наша свежесформированная в тылу армия по приказу Ставки была брошена на юг через беспредельные степи навстречу армейской ударной группе «Гот», в состав которой входили тринадцать дивизий. Действия и той и другой сторон напоминали как бы чаши весов, на которые были теперь положены последние возможности в сложившихся обстоятельствах.

...То обгоняя колонну, то отставая, трофейный «хорьх» мчался, трясясь по обочине. Генерал Бессонов, втянув голову в воротник, сидел неподвижно, глядя сквозь ветровое стекло, молчал с момента выезда из штаба армии. Это долгое молчание командующего воспринималось в машине, как его нелюбимость, как препятствие, которое никто не решался преодолеть первым. Молчал член Военного совета дивизионный комиссар Веснин. И, откинувшись в угол заднего сиденья, притворялся спящим адъютант Бессонова, молодой, общительного нрава майор Божичко, которого с самого начала поездки занимала мысль рассказать последний штабной анекдот, но ловкого случая не было – не рисковал нарушить прочного безмолвия начальства.

Но Бессонов не думал о том, что эта его замкнутость может быть воспринята как нежелание общаться, как самоуверенное равнодушие к окружающим. Давно по опыту знал, что разговорчивость или молчание ничего не могли изменить в его взаимоотношениях с людьми. Он не хотел нравиться всем, не хотел казаться приятным для всех собеседников. Подобная мелкая тщеславная игра с целью завоевания симпатий всегда претила ему, раздражала его в других, отталкивала, словно пустопорожняя легковесность, душевная слабость неуверенного в себе человека. Бессонов давно усвоил, что на войне лишние слова – это пыль, заволакивающая порой истинное положение вещей. Поэтому, приняв армию, он мало расспрашивал о достоинствах и недостатках командиров корпусов и дивизий, объехал их, сухо познакомился, близко взглянул на каждого, не совсем удовлетворенный, однако не совсем и разочарованный.

То, что Бессонов видел через стекло «хорьха» при изредка вспыхивающем в морозном тумане свете фар, – по-бабьи затянутые в заиндевевшие подшлемники лица солдат и командиров, нескончаемое движение волочащихся по дороге валенок, – говорило ему не о пугающем падении «боевого духа», а о предельной, опустошающей усталости, отделенной от его власти. В бой же этим затянутым в подшлемники солдатам вступить предстояло, и, может быть, каждому пятому из них предстояло умереть скорее, чем они думали. Они не знали и не могли знать о том, где начнется бой, не знали, что многие из них совершают первый и последний марш в своей жизни. А Бессонов ясно и трезво определял меру приближающейся опасности. Ему известно было, что на Котельниковском направлении фронт едва держится, что немецкие танки за трое суток продвинулись на сорок километров в направлении Сталинграда, что теперь перед ними одна-единственная преграда – река Мышкова, а за нею ровная степь до самой Волги. Бессонов отдавал себе отчет и в том, что в эти минуты, когда, сидя в машине, он думал об известной ему обстановке, его армия и танковые дивизии Манштейна с одинаковым упорством двигались к этому естественному рубежу, и от того, кто первым выйдет к Мышковой, зависело многое, если не все.

Он хотел взглянуть на часы, но не взглянул, не пошевелился, подумав, что этот жест нарушит молчание, послужит поводом для разговора, чего ему не хотелось. Он по-прежнему молчал, каменно-неподвижно опираясь на палочку, надолго найдя удобное положение, вытя-

нув к теплу мотора раненую ногу. Пожилой шофер, изредка косясь, смутно видел при слабом свечении приборов край хмурого свинцового глаза генерала, его сухую щеку, жестко сжатые губы. Возивший разных командующих, многоопытный шофер понимал молчание в машине по-своему – как следствие ссоры накануне поездки либо разноса со стороны фронтowego начальства. Сзади иногда маленьким заревом вспыхивала спичка, краснел в потемках огонек комиссаровой папиросы, поскрипывала кожа португепи; по-прежнему притворно посапывал там, в углу сиденья, всегда развеселый в общении Божичко.

«Чего-то ему не понравилось или характером нелюдим, – соображал шофер, в то же время при каждой вспышке папиросы за спиной мучаясь желанием сделать хоть одну затяжку. – И не курит, видать, с лица больной, зеленый. Или попросить разрешения: дозволейте, мол, одну цигарку, товарищ командующий, аж уши поопухали не куримши...»

– Включите фары, – сказал вдруг Бессонов.

Шофер вздрогнул от его голоса, включил фары. Мощная просека света вырубилась впереди, в морозном туманце. Мгла, рассеянная над дорогой под сильными фарами, клубясь, волнами ударила в стекла, запуталась в махающих «дворниках», обтекая машину синеватым дымом. На миг показалось – машина движется по дну океана, ровный рокот мотора был самой звучащей материей в его глубинах под толщей воды.

Потом резко приблизилась, появилась справа, выросла, зачернела, хаотично засверкала под ярким светом обледенелыми котелками, автоматами, винтовками колонна. Она сгрудилась кишасей толпой перед огромными, как занесенные снегом стога, танками, загородившими дорогу. Солдаты оборачивались на непривычно разящий свет машины – недовольные, усталые, точно белым пластырем залепленные подшлемниками лица – и одновременно кричали что-то, махали руками.

– К танкам, – приказал Бессонов шоферу.

– Видимо, ребята из механизированного корпуса, – сказал, оживляясь, член Военного совета Веснин. – Что же они, подлецы эдакие, столпотворение устроили! Пехоту обидели? – Он, однако, испытывая слабость к танкистам, произнес «подлецы» ласково и добавил с осторожным восхищением: – Вот орлы!

– Но ползающие, товарищ комиссар, – смешливо вставил сразу очнувшийся Божичко.

– Это не машины корпуса, – твердо поправил Бессонов. – Корпус Мамина движется вдоль железной дороги. Слева от нас. Здесь их сейчас не может быть. Ни при каких обстоятельствах.

– Разрешите выяснить, товарищ командующий? – бодрым голосом отозвался Божичко, вроде и не дремал вовсе. Он засиделся без дела, без разговоров и явно был рад возможности любого проявления энергии.

Бессонов приказал шоферу:

– Остановите машину.

Мощный мотор «хорьха» смолк, опал в тишине свет фар, щупальцами втянулся в радиатор. Разом сомкнулась ночь, исчезли колонна, танки. Бессонов подождал в машине, привыкая к потемкам, потом открыл дверцу, для упора выставив наружу палочку. Вылезая, он задел ногой за край дверцы и, уколотый болью в голени, постоял немного, досадуя на себя за то, что, вылезая, подумал, не задеть бы ногу, и вот таки задел.

Все было мутно-сине, морозно, звездно. Бессонов неясно различил среди этой снежной темноты извивной лентой вытянутую под звезды в степь, запруженную квадратными громадами танков колонну: длинные силуэты машин с зашторенными подфарниками, повозки, столпившихся солдат. Он слышал на дороге гул работающих на холостом ходу автомобильных и тракторных моторов; хриплые, насквозь промерзшие голоса кричали впереди вперемежку с матом:

– Эй, танкисты, техника ваша мать, чего окопались в тылу?

– Мать честная, они же лыка не вяжут!

– Убирай свое железо с дороги – растопырились, ровно на свадьбе! Небось водки нажрались – глаза-то залили!

– Освободи путь. Дай проехать!

– Братцы, сюда начальство какое-то... Две машины!..

Бессонов пошел на эти разноголосые крики, зная, что в войсках еще мало видели его, на полушубке не было петлиц и генеральских знаков различия, но при виде высокой папахи в толпе постепенно угасала ругань, и чей-то спохватившийся тенорок вблизи произнес:

– Никак, генерал...

– Кто командир танкового подразделения? – спросил Бессонов не громким, а утомленным, скрипучим голосом. – Прошу доложить.

Стало тихо. От машины, переговариваясь, подошли член Военного совета Веснин и Божичко. Остановившись, тоже замолчали. Со второй машины прыгали на дорогу автоматчики – охрана.

Бессонов ждал. Никто не отозвался.

От темной громады крайнего танка с искрящимися на броне сизоватыми островками снега несло ледяным запахом накаленного морозом металла, прогорклой остыллой соляжкой. В машине, чудилось, никого не было, не горел свет, танк будто мертво потух. Только в башенном люке зачернело что-то, чуть заворошилось, заслоняя звезды, но оттуда – ни звука.

– Я говорю, пусть подойдет ко мне командир танкового подразделения, – повторил Бессонов тем же тоном. – Жду.

– Кого нужно? Ты, пехота, мной не командуй! Лучше объезжай танки стороной, от греха подальше! – отозвался сверху злой голос, и это смутно-черное, выступавшее из башни, заметнее задвигалось по звездам.

– Ну-ка, слезай к генералу, птичья голова в танкистском шлеме! Чего диалог устраиваешь? – сказал с едкой развеселостью Божичко и, схватившись за железные поручни, вскарабкался на броню, заторопил: – Мигом, мигом! К генералу!

– К какому еще генералу? Меня на пушку не бери! Не первый день... Генерал с пехотой топает, что ли? А в штабах кто?

– Давай, давай, милый, рассуждаешь длинно. Прыгай с неба на землю!

Наверху вспыхнул ручной фонарик, зеленоватым маскировочным светом выхватил из возникшей пустоты неба широкого и огромного, казалось снизу, человека в комбинезоне, надежном, по-видимому, на ватник. Человек медленно вылез из люка на броню, спрыгнул на дорогу.

– Божичко, посветите ему, – приказал Бессонов. – И подведите его.

– Давай, давай, парень, поближе, не робей, – сказал Божичко.

Танкист остановился перед Бессоновым, заметно уменьшившись на земле, но все-таки ростом на голову выше его, неуклюже мешковатый в своей полной форме, возбужденное лицо в разводах копоти, опущенные под светом фонарика глаза подведены чернотой гари, тоже черные подрагивающие губы запеклись. Он тяжело дышал, и почувствовался запах винного перегара.

– Пьяны? – спросил Бессонов. – Посмотрите на меня, танкист!

– Нет... товарищ генерал. Норму я... норму... выдавил танкист, не подымая траурно-черных век, ноздри его раздувались.

– Номер части и звание? Откуда вы?

Запекшиеся губы танкиста лихорадочно зашевелились:

– Отдельный сорок пятый танковый полк, первый батальон; командир третьей роты лейтенант Ажермачев...

Бессонов пристально смотрел на него, еще не веря в точность ответа.

– Как это – сорок пятый? Каким образом вы здесь оказались, командир роты? – очень внятно спросил он. – Сорок пятый полк придан другой армии и, как известно, держит оборону впереди! Отвечайте яснее.

Танкист вдруг вскинул голову, веки его разом открыли в каком-то клоунском, страшном обводе глаза, налитые хмельной мутью. Он глухо выговорил:

– Обороны там нет... Немцы заняли станицу. С тыла обошли. От моей роты осталось вот три машины... В двух – пробоины... Неполные экипажи... Я с остатками роты... вырвался...

– Вырвались? – переспросил Бессонов и, лишь в эту минуту все предельно ясно понимая, повторил это острое, с колючими лапками слово, так знакомое по сорок первому году: – Вырвались? А остальные тоже, лейтенант, вырвались? Кто еще вырвался? – опять повторил недобро Бессонов, выделяя «вырвались» и «вырвался».

– Ах, шкура! – выругался кто-то в толпе солдат.

Танкист заговорил рыдающим голосом:

– Я не знаю... не знаю, кто вырвался. Я прорывался вот с этими танками... Связи не было, товарищ генерал... Рация не работала. Я не мог...

– Что можете добавить?

Бессонов, сдерживая гнев, охваченный болью в голени, уже не видел никого в отдельности, но слышал разрозненные звуки команд, гул моторов за спиной своей огромной, тяжело дышащей, остановленной, как живое тело, колонны, точно сломленной на пути туда, откуда вырвались в слепом отчаянии этот нетрезвый лейтенант-танкист и эти три танка, преградившие сейчас дорогу, и почувствовал нечто ядовитое, словно сама паника черной тенью витала в воздухе. Солдаты вокруг танкиста замерли.

Бессонов повторил:

– Ничего не можете добавить, лейтенант?

Танкист втягивал воздух через ноздри, будто плакал беззвучно.

– Майор Титков! – приказал Бессонов в темноту отчетливо жестким, беспощадным голосом, в котором звучала неотвратимость вынесенного приговора. – Арестуйте его!.. И как труса – в трибунал!

Он знал непререкаемую значимость своих приказов, знал, что приказ его мгновенно выполнят, и, когда увидел низкорослого, железнокрепкого, с фигурой борца майора Титкова из охраны и двух молодых атлетически сложенных автоматчиков, подошедших к танкисту, поморщась, невольно отвернулся, бросил отрывисто майору Божичко:

– Проверьте, как там чувствуют себя остальные танкисты в машинах!

– Есть проверить, товарищ командующий! – ответил Божичко слабым криком изумления и покорности, словно в эту минуту исходила от командующего какая-то смертельная волна, краем коснувшаяся и его, адъютанта.

И это было Бессонову неприятно. Он пошел вперед по дороге.

– Кто командир здесь? Почему грузовик загородил дорогу? – произнес Бессонов с холодной сдержанностью, шагнув на мост; палочка его вонзилась в деревянный настил. Он шел быстро, стараясь не хромать.



Солдаты, толпившиеся на мосту, уважительно расступились перед Бессоновым; кто-то сказал:

– С мотором у них беда.

Впереди, посредине простирающейся под звездами синеватой полосы моста, несколько боком, должно быть после буксовки, тускло вырисовывалась высоким кузовом грузовая машина с поднятым капотом, под которым желто горела лампочка. Свет ее почти заслоняли озабоченно склонившиеся над мотором головы.

– Командир, подойдите ко мне! Чья машина?

И тотчас хрупкая фигурка – вроде мальчишка, одетый в длинную шинель, – быстренько выпрямилась возле капота. Сдвинутая на оттопыренное ухо ушанка, узкие плечи, вычерченные сзади светом лампочки, лица не видно – только пар дыхания и звонкий вскрик молодого петушка на высокой ноте:

– Младший лейтенант Беленький! Машина оэрэсбэ, приданная артснабжению... Внезапная остановка по неисправности... Везем снаряды...

«Экий голосок... как будто в училище рапортует», – подумал Бессонов и перебил не без усмешки:

– Что значит оэр... и как дальше?

– Эсбэ, – договорил младший лейтенант. – Отдельный ремонтно-строительный батальон... Шесть машин временно приданы артснабжению!

– Ну и ну, оэрэсбэ... не произнесешь, – сказал Бессонов. – Язык узлом завяжешь... – И спросил: – Есть надежда через пять минут починить машину?

– Н-нет, товарищ генерал...

Бессонов не дослушал:

– Пять минут на разгрузку снарядов – и очистить мост. Сбросить с проезжей части машину, если не успеете! Ни секунды промедления!

Младший лейтенант стоял застыв, странно торчало его оттопыренное шапкой ухо.

– Товарищ генерал! Товарищ командующий! – взвился в стороне танков дикий умоляющий вскрик, похожий на рыдания. – Я прошу выслушать... я прошу!.. Пустите меня к генералу! К генералу пустите! Потом вы меня...

Этот крик снова толчком боли отдался в раненой ноге. Бессонов повернулся и, внезапно почувствовав, что может упасть, оступившись при неверном шаге, пошел назад, как под болью пытки, а когда увидел подле громады танков людей из своей охраны, с силой отрывавших цепляющегося двумя руками за гусеницы, раскорякой сидевшего на снегу лейтенанта-танкиста

непроизвольно остановился. Тут же к нему подошел от машины член Военного совета Веснин, заговорил с убеждающей горячностью:

– Петр Александрович, прошу тебя... Молодой, в общем, парень. Был, видимо, в состоянии прострации, когда навалились немцы. Но он понимает, что совершил преступление, осознает... Я только что говорил с ним. Прошу тебя, не так резко!

«Вот вроде бы и первые разногласия у меня с комиссаром, – подумал Бессонов. – Быстро усмотрел в моих действиях жестокость».

Боль в ноге не отпускала, стискивала голень раскаленными клешнями, Бессонов, как сквозь синее стекло, видел сбоку длинный овал лица Веснина, его поблескивающие очки и, готовый сесть в машину, сказал сухо:

– Видимо, ты забыл, что такое паника, Виталий Исаевич? Забыл, какова эта зараза? Или так, в этом состоянии прострации, до Сталинграда докатимся? А ну-ка, пусть подведут танкиста. Хочу еще раз взглянуть на него, – добавил он.

– Майор Титков, подведите лейтенанта! – распорядился Веснин.

Майор и автоматчики подвели танкиста, тот хрипло и часто дышал, мелко стучали зубы, как будто его голого ледяной водой окатили. Он не мог выговорить ни слова, а когда наконец попробовал заговорить, слышались лишь сдавленные звуки крутых глотков, и Веснин тронул его за плечо:

– Возьмите себя в руки, лейтенант. Говорите!

Танкист сделал шаг к Бессонову, прохрипел:

– Товарищ командующий... всей жизнью, кровью... кровью искуплю... – Он потер руками грудь, чтобы протолкнуть в легкие воздух. – В первый и последний раз... А не оправдаю... расстреляйте. Только поверьте. Сам в лоб пулю пушу!..

Бессонов, не дослушав, взмахом руки остановил его:

– Достаточно! Немедленно в танк – и вперед! Откуда сумели вырваться! А если еще раз подумаете об этом «вырваться», пойдете под суд как трус и паникер! Немедленно вперед!

Бессонов захромал к машине, и ему показалось, что в возникшем движении за спиной слышались истерически задавленный всхлип смеха, задохнувшееся «спасибо», нелепое, бессмысленное, неприятное, как и этот животный смех, словно он, Бессонов, в силу какой-то извращенной прихоти имел право отнимать и дарить жизнь, а даря, приносил неудержимое счастье другим.

«Что-то не так во мне, не так, как хотел бы... Этого не должно быть, – подумал Бессонов уже в машине, вытягивая к мотору ногу. – Я хотел бы, чтобы было иначе. Но как? Я вызвал страх, покорность перед страхом? Или этот танкист раскаивался искренне?»

Шофер, впопыхах докуривая, так затягивался толстой самокруткой, что трещала махорка, разлетались искры, жаром подсвечивали усы, виновато сказал Бессонову:

– Извините, товарищ генерал, надымил я...

Он включил мотор. Веснин молча влезал в машину.

– Курите, – брезгливо разрешил Бессонов, – если терпеть не можете. Майора Божичко захватим на мосту. Поехали.

– Что у вас за махорка, Игнатьев? Дайте-ка мне попробовать. «Вырви глаз» небось? Продирает до печени? – подал голос Веснин, устраиваясь на заднем сиденье.

– Да ежели не побрезгуете, продерет, товарищ член Военного совета, – с охотой ответил шофер. – Возьмите кисетик.

Впереди мощно взревели танки, выбрасывая из выхлопных труб снопы искр; скрежеща траками, зашевелились, по-звериному блеснули глаза фар. В поднятой гусеницами выюге машины разворачивались сбоку отхлынувшей с дороги колонны. Передний стал вползать на барабанно загудевший под ним мост. Снизив обороты мотора, танк остановился перед наискось заслонившим проезд грузовиком, вокруг которого работали, суетились солдаты, выгру-

жая последние снаряды. Фары высветили на мосту фигуру майора Божичко. Он командовал разгрузкой. Потом, приложив ко рту рупором ладони, майор что-то крикнул танкисту, стоявшему в верхнем люке. Солдаты отбежали от грузовика. Передний танк застрелял выхлопами, рванулся вперед, ударил гусеницами в борт автомашины, с игрушечной легкостью поволок ее по настилу. Ломая перила моста, грузовик ринулся вниз, с хрястом ударился о лед реки.

– Какое же война чудовищное разрушение! Ничто не имеет цены, – огорченно сказал Веснин, глядя сквозь стекло вниз.

Бессонов не ответил, сидел сутулясь.

С включенными фарами, светом торопя танки, «хорьх» затормозил. Майор Божичко, взбудораженный, крепко пахнувший остролекарственным морозным воздухом, не влез, а ввалился в машину и, захлопнув дверцу, отдуваясь после энергичных действий на мосту, доложил не без удовольствия:

– Можно двигаться, товарищ командующий.

– Спасибо, майор.

В свете фар Бессонов увидел на краю моста, близ сломанных перил, выпрямленную, в длинной шинели фигурку младшего лейтенанта с высоким, петушиным голоском, с неловко оттопыренным шапкой ухом. Младший лейтенант то растерянно смотрел вниз, то оглядывался на «хорьх», как бы впервые ничего не понимая, прося защиты у кого-то.

Бессонов приказал:

– Включите фары, Игнатьев, – и, найдя возле теплого мотора удобное положение для ноги, с закрытыми глазами глубже вобрал голову в воротник.

«Виктор, – подумал он. – Да, Витя...»

В последнее время все молодые лица, которые случайно встречались Бессонову, вызывали у него приступы болезненного одиночества, своей неизъяснимой отцовской вины перед сыном, и чем чаще теперь он думал о нем, тем больше казалось, что вся жизнь сына чудовищно незаметно прошла, скользнула мимо него.

Бессонов не мог точно вспомнить подробности его детства, не мог представить, что любил он, какие были у него игрушки, когда пошел в школу. Особенно ясно помнил только, как однажды ночью сын проснулся, вероятно, от страшного сна и заплакал, а он, услышав, зажег свет. Сын сидел в кровати, худенький, вцепившись в сетку тонкими, дрожащими ручками. Тогда Бессонов подхватил его и волосатой своей грудью ощущал прижавшееся слабое тельце, ребрышки, чувствуя воробьиный запах влажных на темени светлых волос, носил по комнате, бормотал нелепые слова выдуманной колыбельной, ошеломленный нежностью отцовского инстинкта. «Что ж ты, сынок, я ж тебя никому не отдам, мы с тобой, брат, вместе...»

Но ярче помнилось другое, то, что особенно казнило потом: жена с испуганным лицом вырывала из рук ремень, а он хлестал им по обтянутым дешевым, вывоженным в чердачной пыли брючишкам двенадцатилетнего сына, не издавшего при том ни звука. А когда бросил ремень, сын выбежал, кусая губы, оглянулся в дверях – в серых его, материнских глазах дрожали непролитые слезы мальчишеского потрясения.

Раз в жизни он причинил сыну боль. Тогда Виктор украл из письменного стола деньги на покупку голубей... О том, что он водил на чердаке голубей, было узно позднее.

Бессонова перебрасывали из части в часть – из Средней Азии на Дальний Восток, с Дальнего Востока в Белоруссию, – везде казенная квартира, казенная чужая мебель; переезжали с двумя чемоданами; с этим давно свыклась жена, вечно готовая к перемене мест, к новому его назначению. Она безропотно несла его и свой нелегкий крест.

Пожалуй, так было надо. Но долго спустя, пройдя через бои под Москвой, лежа в госпитале, он думал ночами о жене и сыне и понимал, что многое было не так, как могло бы быть, что он жил, как по рабочему черновику, все время в глубине сознания надеясь через год, через два переписать свою жизнь набело – после тридцати, после сорока лет. Но счастливое изменение

так и не наступило. Наоборот, повышались звания, должности, вместе с тем наступали войны – в Испании, в Финляндии, затем Прибалтика, Западная Украина, наконец – сорок первый год. Теперь он не ставил себе юбилейных сроков, лишь думал, что уж эта-то война непременно изменит многое.

А в госпитале впервые пришла мысль, что его жизнь, жизнь военного, наверно, может быть только в единственном варианте, который он сам выбрал раз и навсегда. Даром в его жизни ничего не прошло. Набело ее не перепишешь, и этого и не нужно делать. Это как судьба: или – или. Среднего нет. Что ж, если снова пришлось бы выбирать, он не изменил бы своей судьбы. Но, поняв это, Бессонов осознавал непростительное: то, что было самым близким в данном ему, единственном варианте выбранной им жизни, скользнуло, скоротечно мелькнуло мимо, словно в дыму, и он не находил оправдания ни перед сыном, ни перед женой.

Последняя встреча с Виктором произошла как раз там, в подмосковном госпитале, в чистенькой и беленькой палате для генералов. Сын, получив назначение после окончания пехотного училища, приехал к нему с матерью за три часа до отхода поезда на фронт с Ленинградского вокзала. Сияя малиновыми кубиками, щегольски скрипя новым командирским ремнем, портупеей, весь праздничный, счастливый, парадный, но, казалось, несколько игрушечный в военном блеске, новоиспеченный младший лейтенант, на которого, видимо, оглядывались на улицах девушки, сидел на соседней койке (ходячий сосед-генерал деликатно вышел) и ломким живым баском рассказывал о назначении в действующую армию. О том, как чертовски «обрыдли» в училище эти бесконечные «становись, равняйся, смирно!» А теперь, слава богу, на фронт, дадут роту или взвод – всем выпускникам дают, – и начнется настоящая жизнь.

В разговоре он небрежно называл Бессонова «отец», как не называл раньше, к чему нужно было привыкнуть. И Бессонов смотрел на его живое лицо с серыми веселыми глазами, с нежным пушком на щеках, на тонкую руку способного мальчика, которой он несколько озабоченно похлопывал по карману диагональных галифе, и думал почему-то о других мальчиках – младших лейтенантах и лейтенантах, командирах взводов и рот, которых почти всегда приходилось видеть однажды: в очередной бой приходили другие...

– Ты ему разреши, пожалуйста, закурить, Петя, – перебила жена, наблюдая за сыном с обеспокоенностью. – Он ведь курить стал, ты не знаешь?

– Значит, куришь, Виктор? – спросил Бессонов, неприятно удивленный внутренне, но пододвинул на тумбочке папиросы и спички соседа-генерала. – Вот тут возьми...

– Мне восемнадцать, отец. В училище все курили. Я не могу быть белой вороной.

– И пьешь, видимо? Уже попробовал? Ну, откровенно, ты ведь младший лейтенант, самостоятельный человек.

– Да, пробовал... Нет, не надо, у меня свои. «Пушки». Можно? Тебе ничего? – быстро сказал сын и, краснея, подул в папиросу; спичку зажег по-особенному, по-фронтному, в ладнях, как научился, должно быть, у кого-то в училище. – Представляю, – заговорил он живо, чтобы скрыть смущение, – что было бы, если бы ты раньше узнал. Выпорол бы?

Сын курил неумело, выпуская дым вниз, под койку, точно курил в казарме училища, опасаясь появления дежурного командира. Бессонов и жена переглядывались молча.

– Нет, – глухо ответил Бессонов. – После того случая никогда. Ты разве считаешь меня... суровым отцом?

– А все-таки правильно тогда сделал, – сказал сын. – Надо было выпороть. Вот дурак был!

Он, смеясь, говорил это, вспомнив то, что теперь особенно мучило Бессонова – причиненная когда-то сыну физическая боль.

– Милые мои мужчины... Теперь у меня двое взрослых мужчин! – тихонько воскликнула мать и сжала пальцами на одеяле кисть Бессонова. – Петя, происходит странное, будто без твоего участия. Виктор уезжает на Волховский, в неизвестную армию... Неужели ты не можешь

ничего сделать, взять его к себе... в какую-нибудь свою дивизию? Хоть был бы на глазах. Ты понимаешь?

Он все понимал, больше, чем она, знал мотыльково-короткие судьбы командиров стрелковых взводов и рот. Он не раз думал об этом и жестом успокоения хотел погладить маленькую теплую руку жены, но сдержался в присутствии сына.

– Сейчас я, Оля, как видишь, генерал без войска, – сказал Бессонов, внимательно глядя на сына, но обращаясь при этом к жене. – Когда будет реально ясно положение, я отзову Виктора, если, конечно...

Сын не дал ему договорить, поперхнулся дымом, замотал головой отрицательно.

– Ну, нет уж, отец! Под крылышко к папе-генералу? Нет уж! И не заводи об этом разговор, мать! Может, еще в адъютанты к отцу? Ордена начнет давать?

– В адъютанты я тебя не назначу, а роту дам, – сказал Бессонов. – А насчет орденов – без заслуг давать не буду. Хотя знаю, что получают их по-разному.

– Нет уж! В училище ребята только и спрашивали, с такими, знаешь, улыбочками: «Ну, теперь к папе?» Не хочу, отец! Какая разница, где ротой командовать? Да у меня назначение в кармане. Мы четверо из училища туда – вместе хотим. Вместе учились, вместе и в атаки будем ходить! А если уж что – судьба! Двух судеб не бывает, отец! – повторил он чьи-то, видимо, слышанные им слова. – Честное слово, мать, не бывает!

Бессонов лишь шевельнул пальцами под ставшей влажной ладонью жены, она тоже молчала. То, что сыну казалось сейчас ясным, простым, то, что так возбуждало его ожиданием новой самостоятельной жизни, боевого товарищества, решительных и, конечно, победных атак, Бессонову рисовалось в несколько ином свете. Он хорошо знал, что такое поле боя, как некрасива бывает порой смерть на войне.

Но он не имел права говорить сыну все, опытно и приземленно разрушать в нем наивную иллюзию молодости. Да тот сейчас и не воспринял бы ничего. Виктор явственно чувствовал одно: как пленительно похрустывало в кармане новой его гимнастерки предписание о выезде на фронт. Да, сама война была вправе внести реальные поправки.

– Судьба, – повторил Бессонов. – Ты говоришь, Виктор, судьба. Но судьба на войне все-таки не индейка. А это, как тебе ни покажется странным, каждый день ежеминутно... преодоление самого себя. Нечеловеческое преодоление, если хочешь знать. Однако не в этом дело...

– Да, не в этом дело, не будем лезть в дебри философии! – беспечно согласился сын и спросил, указывая на забинтованную под одеялом ногу отца: – А ты как, ничего теперь? Скоро отсюда? Представляю, какая скучища лежать здесь! Сочувствую, отец! Не болит?.. О, ч-черт, время!.. Меня ребята ждут. Мне пора на вокзал! – и взглянул на часы; по этому его движению можно было понять, что он еще не представляет, что такое боль, не может даже представить саму возможность боли.

– Надеюсь, выберусь отсюда, – сказал Бессонов. – А ты вот что: матери пиши. Хоть раз в месяц.

– Четыре раза в месяц, даю слово! – Виктор встал, почти счастливый при мысли, что скоро наконец сядет в вагон со своими училищными друзьями.

– Нет, два раза, Витя, – поправила мать. – И больше не надо. Я буду хоть знать...

– Обещаю, мама, обещаю. Пора, поедем!

И было еще – запомнившееся.

Перед уходом сын постоял, улыбаясь, в нерешительности, не зная, поцеловать ли отца (в семье не было это принято). И не решился, не поцеловал, а по-взрослому протянул руку.

– До свидания, отец!

Однако Бессонов, стиснув хрупкую кисть сына, притянул его и, подставив худую, выбритую, как всегда, щеку, хмурясь, сказал:

– Ладно. Не знаю, когда еще увидимся, – война, сын.

Он впервые за весь разговор назвал его «сын», но не с той интонацией, какую вкладывал Виктор в слово «отец».

Виктор неловко ткнулся губами в край его рта, и Бессонов поцеловал его в горячую щеку, ощутив сладковатый запах чистого мальчишеского пота от его гимнастерки. Сказал:

– Поезжай! Только помни: стариками осколки и пули брезгают. Они таких, как ты, ищут... А надумаешь – пиши, роту тебе найду. Ну, ни пуха тебе, ни пера, младший лейтенант!

– Кажется, говорят, «к черту», отец?.. Выздоровливай. Я после первого боя напишу!

Он засмеялся, провел рукой по ремню португеи, расправил складки аккуратной комсоставской гимнастерки и, с удовольствием оправив сияющую желтой кожей кобуру пистолета, подхватил со спинки кровати новенький, хрустящий плащ, проворно перекинул через руку. В тот же момент что-то с дробным стуком посыпалось на солнечный пол палаты. Это были свежие, золотистого блеска патроны для пистолета ТТ. Ими были набиты карманы Викторова плаща. После окончания училища патронов выдавалось только по две обоймы, а он каким-то образом сумел увеличить их запас, которого хватило бы ему на многие месяцы войны.

Отвернувшись к окну, Бессонов ничего не сказал. А мать проговорила жалким голосом:

– Что это? Зачем тебе столько? Я помогу... сейчас. Вам столько выдали?

– Мама, я сам... Подожди. Это так, на всякий случай.

Сын, немного смущенный, стал быстро собирать с пола патроны, а когда выпрямился, заталкивая их в карманы, увидел еще один, откатившийся, и, оглянувшись на отца (тот смотрел в окно), носком своего хромового сапожка легким ударом послал патрон куда-то в угол, со счастливым лицом вышел, как на прогулку, весь праздничный, весь игрушечный, младший лейтенант, в хрустящих ремнях, с новеньким плащом, перекинутым через руку.

Этот зеркально отполированный патрон Бессонов потом нашел под батареей парового отопления и долго держал на ладони, чувствуя его странную невесомость.

... – Комиссар, сколько ему лет? Девятнадцать, двадцать? – скрипуче спросил Бессонов, нарушая молчание в машине.

– Танкисту?

– И другой там был. На мосту.

– В общем, мальчишки, Петр Александрович.

«Хорьх», мягко покачиваясь на ухабах, мчался с выключенными фарами. Танки давно исчезли в синеватой мгле морозной ночи. Справа черным пунктиром шли без огней грузовики с прицепленными тяжелыми орудиями. Доносился изредка всплеск буксующих по наледи колес, ветром пролетали за мерзлыми стеклами обрывки команд – и Бессонов, все время чувствуя непрерывное это движение, думал: «Да, скорей, скорей!..»

Мягкое тепло от нагретого мотора обволакивало снизу ногу, успокаивая боль, обкладывало ее, как горячей ватой; механически постукивая, равномерно махали «дворники», счищая изморозь со стекол. Вся степь впереди мутно синела под раскаленными холодом звездами.

Сзади фосфорически пыхнул огонек спички, и в машине распространился запах папиросного дымка.

– Да, двадцать, он так мне сказал, – ответил Веснин и сейчас же спросил с доверительной осторожностью: – Скажи, Петр Александрович, а что все-таки с твоим сыном? Так ничего и не слышно?

Бессонов насторожился, крепко сдвинул палочку, поставленную между коленями.

– Откуда известно о моем сыне, Виталий Исаевич? – спросил он сдержанно, не поворачивая головы. – Ты хотел спросить: жив ли мой сын?

Веснин сказал негромко:

– Прости, Петр Александрович, не хотел, разумеется, как-то... Конечно, я кое-что знаю. Знаю, что у тебя сын, младший лейтенант... Воевал на Волховском, во Второй ударной, которая... В общем, судьба ее тебе известна.

Веснин замолчал.

– Все верно, – холодно сказал Бессонов. – Вторая ударная, в которой служил мой сын, в июне потерпела поражение. Командующий сдался в плен. Член Военного совета застрелился. Начальник связи вывел остатки армии из окружения. Среди тех, кто вышел, сына не было. Знавшие его утверждают, что он погиб. – Бессонов нахмурился. – Надеюсь, все, что я сказал, умрет в этой машине. Не хотел бы, чтобы о событиях на Волховском шептались досужие ловцы сенсаций. Не ко времени.

Было слышно, как Веснин опустил закрипевшее стекло, выбросил недокуренную папиросу, как шофер поерзал на сиденье, точно предупреждение это относилось лишь к нему, проворчал:

– Обижаете, товарищ командующий. Сто раз проверенный я...

– Обижайтесь, если не поняли, – сказал Бессонов. – Это относится и к майору Божичко. Рядом с собой не потерплю ни слишком разговорчивых шоферов, ни чересчур болтливых адъютантов.

– Все понял, товарищ командующий! – не обижаясь, бодро откликнулся Божичко. – Учту, если ошибки есть.

– Они у всех есть, – сказал Бессонов.

«Крут и не прост, – подумал Веснин. – Ясно дал понять – подстраиваться ни под кого не будет. В общем, закрыт на все замочки, не расположен к откровенности. Что он думает обо мне? Я для него, наверно, только штатский очкарик, хоть и в форме дивизионного комиссара...»

– Прости, Петр Александрович, за еще один вопрос, – проговорил Веснин с желанием растопить ледок некой официальности между ними. – Знаю, что ты был в Ставке. Как он? Представь, в жизни я его видел несколько раз, но только на трибунах. Вблизи – никогда.

– Что тебе ответить, Виталий Исаевич? – сказал Бессонов. – Одним словом на это не ответишь.

Так же как и Веснин, ошупью угадывая нового командующего, невольно сдерживал себя, так и Бессонов не был расположен открывать душу, говорить о том, что касалось в какой-то степени и сына, о котором Веснин спрашивал минуту назад. Он все острее чувствовал, что судьба сына становилась его отцовским крестом, непроходящей болью, и, как это часто бывает, внимание, сочувствие и любопытство окружающих еще больше задевали кровоточащую рану. Даже в Ставке, куда пригласили Бессонова перед назначением на армию, в ходе разговора возник вопрос и о его сыне.

Глава шестая

Вызов в Ставку был для него неожиданным. Бессонов находился в тот момент не в своей московской квартире, а в академии, где два года перед войной преподавал историю военного искусства. Уже прослышав, что должен быть подписан приказ о новом его назначении, он зашел к начальнику академии генералу Волубову, старому другу, однокашнику по финской кампании, трезвому, тонкому знатоку современной тактики, человеку скромному, негромкому в военных кругах, но весьма опытному, чьи советы Бессонов всегда ценил. Неторопливую, перемешанную воспоминаниями их беседу за питьем чая в служебном кабинете генерала прервал телефонный звонок. Начальник академии, сказав свое обычное: «генерал-лейтенант Волубов», с переменявшимся лицом поднял на Бессонова глаза, добавил шепотом:

– Тебя, Петр Александрович... Помощник товарища Сталина. Возьми, пожалуйста, трубку.

Бессонов, озадаченный, взял трубку: незнакомый голос, ровный и тихий, выученно спокойный, без какого-либо оттенка распоряжения, поздоровался, называя Бессонова не по званию, а «товарищ Бессонов», затем вежливо спросил, сможет ли он приехать сегодня в два часа дня к товарищу Сталину и куда прислать машину.

– Если не затруднит, к подъезду академии, – ответил Бессонов и, закончив разговор, долго молчал под спрашивающим взглядом генерала Волубова, пытаясь не показать внезапно охватившего его волнения, внешние признаки которого всегда были ему неприятны в людях. Потом, взглянув на часы, проговорил обыденным голосом: – Через полтора часа... к Верховному. Вот как, оказывается.

– Только прошу тебя, Петр Александрович, – предупредил начальник академии, подержав Бессонова за локоть, – о чем бы там ни спрашивали тебя, не спеша с ответом. Все, кто бывал у него, говорят: не любит шустрых. И ради бога, не забудь – не называй по имени и отчеству, называй официально – товарищ Сталин. Имени и отчества в обращении не терпит... Вечером заеду к тебе – подробно обо всем расскажешь.

... В приемной Сталина, отделанной дубовыми панелями, тускло освещенной в окна серовато-мглистым холодным днем поздней осени, на крепких, с жесткой обивкой стульях сидели, поджав ноги, в молчаливом ожидании двое незнакомых Бессонову генералов, и когда немолодой, седоватый полковник, сопровождавший Бессонова в машине, ввел его, из-за широкого письменного стола, уставленного телефонами, поднялся маленького роста лысый человек с ничего не выражающей улыбкой, в скромном штатском костюме, с неприметным, серым, переутомленным лицом. Глядя Бессонову в самые зрачки, пожав руку несильной бескостной рукой, он сказал, что придется подождать, не уточняя при этом, сколько ждать, и сам проводил Бессонова к свободному стулу возле двух генералов.

– Прошу вас – здесь...

Бессонов сел, а лысый усталый человек в штатском – это именно он звонил в академию – улыбнулся ему и с привычной вежливостью легонько притронулся кончиками желтых пальцев к его палочке.

– Разрешите, Петр Александрович, я поставлю ее в угол. Так вам будет удобней.

Он аккуратно отнес палочку Бессонова, потихоньку поставил ее в углу за столом и так же бесшумно сел к своим бумагам и телефонам.

Было тихо, пахло чуть-чуть деревом, теплыми батареями. Дневной шум осенней, но уже заснеженной Москвы не проникал сюда даже легким шорохом сквозь древнюю толщу каменных стен; не слышно было ни человеческих голосов, ни шагов в коридоре.

В приемной тоже ни звука, ни движения, ни скрипа стульев; молчал за столом человек в штатском; молчали два незнакомых генерала. Молчал и Бессонов, все более испытывая

странное, властно подчиняющее его ощущение собственной растворенности в непроницаемой тишине, своей неподготовленности к разговору при мысли, что где-то рядом, за стеной, может быть Сталин, что сейчас раскроется дверь, и сюда, в приемную, войдет тот, чей облик врезался в сознание прочнее, неизгладимее лиц покойных отца и матери. Наверно, то же самое испытывали и незнакомые генералы, и усталый человек за столом.

Все говорило здесь о каждодневном присутствии человека, вершащего судьбами войны и судьбами миллионов людей, готовых с убежденностью умереть за него; готовых голодать, страдать, терпеть; готовых смеяться от счастья и кричать в неудержимом восторге узнавания при слабой его улыбке, при слабом взмахе его руки на трибуне. Напряженность ожидания, испытываемая Бессоновым, ощущалась так еще и потому, что имя Сталина, привычное, твердое и звучное, уже как бы не принадлежало одному человеку; вместе с тем это имя было связано с одним-единственным человеком, способным делать то, что было всеобщим, что было надеждой всех.

В приемной никто не решался заговорить: звук нормального человеческого голоса, казалось, мог привести ожидающих в иное состояние, которое разрушило бы что-то священное. Грузный, пожилой генерал-полковник, расставив толстые колени, тихонько меняя положение тела, вдруг скрипнул сапогами под стулом и, вроде бы испуганный этим звуком, багровея, покосился на соседа – молодого, подтянутого артиллерийского генерал-лейтенанта. Сплошь увешанный орденами, начищенный, без единой морщинки на выглаженном кителе, тот сидел, выпрямив грудь, уставясь на маленького человека в штатском, листающего бумаги за столом.

Было 14 часов 10 минут, когда усталый лысый человек в штатском по одному ему известным признакам определил присутствие рядом Сталина.

Неслышным движением он встал, без вызова направился в кабинет и, вернувшись, оставил дверь приоткрытой, вымолвил:

– Пожалуйста, товарищ Бессонов.

Стараясь не хромать, Бессонов вошел.

В первое мгновение он не увидел подробно этот просторный, как зал, кабинет с портретами Суворова и Кутузова на стенах, с длинным столом для заседаний, официально зеленоющим полосой сукна, с топографической картой на огромном другом столе, с телефонными аппаратами и шнуром, кольцами свернутым на ковровой дорожке. В тот момент Бессонов, весь напряженно собранный, видел только самого Сталина – маленького роста, с первого взгляда непохожий на свои портреты, он шел навстречу ему чуть развалистой, мягкой походкой в мягких, без скрипа сапогах; на нем был армейского образца китель, покато облежавший на конус срезанные плечи. Его толстые усы, густые брови еле уловимо отливали сединой, узкие, желтоватые глаза смотрели спокойно, и Бессонов подумал: «О чем он спросит сейчас?»

Без рукопожатия поздоровавшись, не пригласив Бессонова сесть, не садясь сам, Сталин размеренно заходил по ковровой дорожке около стола с картой, держа перед животом левую, будто не полностью разгибающуюся руку.

После довольно продолжительного молчания, пройдя к письменному столу в конце кабинета и задержавшись там, спиной к Бессонову, спросил с неопределенной интонацией:

– Что вы думаете о последних событиях, товарищ Бессонов?

Не совсем поняв вопрос, Бессонов хотел уточнить: «О каких именно событиях, товарищ Сталин?» – но ответил через силу сдержанным голосом:

– Если говорить о последних событиях под Сталинградом, товарищ Сталин, то они могут положить начало большому наступлению и, как мне кажется, новому периоду войны, если мы не позволим немцам разомкнуть внутренний и внешний фронт кольца...

– Кажется или убеждены, товарищ Бессонов?

– Убежден, товарищ Сталин. Думаю, многое будет зависеть от того, насколько последовательно мы сумеем расчлнить и уничтожить противника в окружении.

Бессонов замолчал, ему показалось: неширокая, округлая спина Сталина пошевелилась, как бы останавливая его и соглашаясь с ним.

Было прохладно в кабинете и тихо. Сталин взял трубку из пепельницы, повернулся от письменного стола, зажег спичку, раскуривая трубку, и, цепко глядя поверх огня спички на Бессонова, проговорил настойчиво, словно не расслышал его ответа:

– Если мы вас назначим командовать армией под Сталинградом, возражений с вашей стороны не будет, товарищ Бессонов? Мы хорошо знаем о действиях вашего корпуса под Москвой и посоветовались с Рокоссовским...

«Значит, слухи о моем назначении верны. Ответить, что я так или иначе не совсем понимаю причину моего назначения, или ответить, что это назначение для меня неожиданно, – глуповатая искренность. Что ж, значит, мою кандидатуру выдвинул Рокоссовский. Не думал, что будет именно так».

– Товарищ Сталин, я солдат, и назначение на любой пост для меня – приказ.

– Вы, полагаю, подлечились в госпитале, и пора воевать, товарищ Бессонов. По-моему, здесь тоже возражений нет. – Сталин вяло помахал рукой, гася спичку. – Подойдите к карте.

Бессонов без палочки преодолел, как препятствие, короткое расстояние до стола. Теперь он стоял так близко к Сталину, что чувствовал сладковатый, табачно-пряный запах его одежды, а сбоку видел широкую, пробитую сединой бровь, серую, шершавую кожу щеки, тронутую выемками оспинок; и когда Сталин, помолчав над картой, медленно поднял желтоватые глаза, в них был какой-то размягченный блеск внутренней довольной усмешки.

– Не возражаю против ваших рассуждений, товарищ Бессонов, – тихо заговорил Сталин. – Под Москвой, как известно, мы тоже думали об окружении противника. Но не хватило сил. И в том числе вашему корпусу. Канны сняты каждому генералу, товарищ Бессонов. Но мы, коммунисты, верим в объективные обстоятельства. Гитлеру, как говорят, не хватило под Москвой какой-нибудь одной свежей танковой дивизии и длинного лета. Некоторые утверждают: появилась некая закономерность – они наступают летом, мы их бьем зимой. Нет, в войне не может быть такой закономерности. Старые песни... Так Канны, говорите, товарищ Бессонов? – повторил Сталин, хотя Бессонов не употребил этого слова, и пососал трубку, она погасла; он, однако, не стал зажигать ее, кончиком трубки плавно обвел над картой район Сталинграда. – Здесь гитлеровские разбойники оказались в котле – и это первые наши Канны, товарищ Бессонов. Согласны?

– Да, товарищ Сталин. Я полностью с вами согласен.

– Поэтому ваша хорошо оснащенная армия, – продолжал Сталин после длительной паузы, – которую мы вам даем из резерва Ставки, посылается на усиление трех фронтов, завершать разгром немцев в окружении. Вы будете добивать Паулюса, завершать операцию «Кольцо». Какие у вас соображения по этому поводу, товарищ Бессонов?

– Товарищ Сталин... – проговорил Бессонов, понимая, почему Сталин остановился на прошлогодней обстановке под Москвой и так настойчиво повторил три раза слово «Канны», говоря об обстановке под Сталинградом, сложившейся в результате ноябрьского контрнаступления наших фронтов. – Я хотел бы сказать, товарищ Сталин, что все сейчас зависит от быстроты ликвидации этой огромной немецкой группировки. Не исключена возможность попытки прорыва немцев изнутри кольца или их деблокирующего удара к окруженной группировке сквозь внешний фронт. Мне сказали, что действия наших войск по ликвидации окруженной группировки в последние дни замедлились, а немцы ожесточенно сопротивляются и даже контратакуют...

«Это он знает лучше меня, и, наверно, говорю я нехстати», – подумал Бессонов, едва лишь произнес последнюю фразу, но Сталин, поднеся зажженную спичку к трубке, слегка кивнул.

– Попытка прорыва, говорите? Не ошибаетесь, товарищ Бессонов. Данные о переброске немецких сил из Западной Европы на Сталинградское направление есть... Продолжайте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.